

А.ШАРДИН

РОД КНЯЗЕЙ
ЗАЦЕПИНЫХ,
ИЛИ ВРЕМЯ
СТРАСТЕЙ И
КНЯЗЕЙ. ТОМ 1

Россия державная

А. Шардин

**Род князей Зацепиных, или
Время страстей и князей. Том 1**

«Public Domain»

1883

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

Шардин А.

Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 1 /
А. Шардин — «Public Domain», 1883 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-02279-1

А. Шардин – псевдоним русского беллетриста Петра Петровича Сухонина (1821–1884) который, проиграв свое большое состояние в карты, стал управляющим имения в Павловске. Его перу принадлежат несколько крупных исторических романов: «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы», «На рубеже столетий» и другие. В первый том этого издания вошли первая и вторая части романа «Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней», в котором на богатом фактическом материале через восприятие князей Зацепиных, прямых потомков Рюрика, показана дворцовая жизнь, полная интриг, страстей, переворотов, от регентства герцога Курляндского Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны и правительницы России при малолетнем императоре Иване IV Анны Леопольдовны до возведенной на престол гвардией Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, ставшей с 1741 года российской императрицей. Здесь же представлена совсем еще юная великая княгиня Екатерина, в будущем Екатерина Великая.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02279-1

© Шардин А., 1883
© Public Domain, 1883

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	15
III	25
IV	41
Конец ознакомительного фрагмента.	48

А. Шардин (Петр Петрович Сухонин)

Род князей Зацепиных, или

Время страстей и казней

Том первый

Часть первая

I

Петербург

В половине марта 1740 года по Аничковой слободе, среди слякоти и грязи, ехали одна за другой три тяжело нагруженные кибитки, запряженные каждая тройкой хорошо откормленных лошадей. Передняя кибитка была с кожаным верхом, с особым сиденьем для возницы и с запятками для выездного, вообще, хорошо прибранная. Другие кибитки были обиты просто рогожей. В первой кибитке среди пуховых подушек и ковров, на перине сидел наглухо завернутый в овчинное, крытое сукном одеяло молодой человек в лисьей шубе, невысокой собольей шапке и валяных сапогах. Он уткнул голову в подушку и, казалось, дремал. Подле кибитки с правой стороны шел возчик¹, в малахае из волчьего меха, в овчинном тулупе, сверх которого был надет темно-синий армяк, и в замшевых рукавицах, подбитых заячьим мехом; с левой — шел выездной, в таком же тулупе и рукавицах, а вместо армяка на нем была надета теплая епанча с воротником из крашеной лисицы. Он был в татарской шапке, опушенной собачьим мехом.

За этой кибиткой ехала другая, без особого сиденья для возницы, или возчика, а просто с перекинутой через нее и прибитой к облучку доской. Она была наполнена огромным количеством сундуков, чемоданов, ящиков и кульков, между которыми кое-как примостился мальчик лет тринадцати, дрожавший от холода, потому что был в одном только суконном зипуне и с голой шеей.

Подле мальчика сидел старик лет шестидесяти, с чисто выбритым и хмурым лицом, старик пасмурный и сердитый. Он был одет в овчинный, ничем не покрытый тулуп, подпоясанный казанским ремнем; за который был заткнут большой и широкий татарский нож, в высокие валенки и тоже татарскую шапку; шея его была обмотана красным немецким шарфом. Подле кибитки шел только возчик. Последняя кибитка ехала без возницы, ею правил сам ехавший в ней седок, малый лет двадцати семи, здоровенный как бык, с красными щеками и белокрысыми волосами. Он был тоже только в армяке и помещался между кулями овса и разными припасами, находившимися в бочонках, корзинках, связках, бадьях и всякой другой посуде, предназначенными для дальнего переезда.

Караван, выехав из Московской ямской слободы, повернул уже на Невскую перспективу, въехал на деревянный настил, который, вместо мостовой, тянулся от самой охтинской дороги

¹ Название кучера хотя и употреблялось в 1740 году, но было далеко не во всеобщем употреблении. Употребление слова лакей, заимствованное от французов, как выдумали парижанки называть сопровождающих себя людей, в России распространилось только с последней четверти прошлого века. Всего прежде в России вошло в употребление слово фореитор; их начали так называть с введением крытых больших колымов, стало быть, еще при царях Рюриковичах, прежде лихолетья, во всяком случае не позже первого самозванца.

вплоть до моста между деревьями, насаженными еще Петром, – проехал Вшивую биржу, где стояло несколько чухонских саней и толпился народ, миновал шорные ряды, называвшиеся тогда казанскими, так как в них преимущественно продавались сыромятные кожи, мыло и другие казанские товары, – ряды грязные до невероятности.

Караван шел шагом, медленно продвигаясь вперед и звеня колокольцем передней кибитки и бубенчиками задних.

По обеим сторонам дороги тянулись маленькие домики, большею частью деревянные, с мезонинами и вышками, между которыми стояли заборы и лежали неогороженные пустыри; чуть не на каждом шагу встречались кабаки, харчевни, постоялые и заезжие дома. Кабаки было легко узнать по воткнутым над входом и по сторонам елкам, а харчевни, постоялые и заезжие дома – по выступающему на улицу крытому крылечку со скамьями для посетителей, а также по большому навесу вокруг двора. Впрочем, на некоторых из харчевен были вывески с нарисованными на них калачом, штофом водки и блюдом, на котором красовались не то пряженцы, не то булженик, долженствующий обозначать подаваемое в харчевне съедомое. Постоялые и заезжие дома отличались, кроме того, еще более или менее замысловатой надписью вроде: «Выпей и закуси!», или «Милости просим!», или просто лаконичным: «Заходи!».

Проехали чистенькую нарышкинскую дачу; из-за низеньких домиков и деревьев, обнаженных от листвы, справа показались роскошные палаты ныне покойного генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева; а слева потянулась березовая рощица, из-за которой виднелось Троицкое подворье, а за ним расстился сад бывшего провиантского чиновника Обольянинова, с пестро раскрашенным забором, глиняным филином на воротах и золоченым купидоном на дворе.

Вскоре караван въехал на небольшую площадку перед узеньким деревянным мостиком, покрашенным коричневой краской. За этим мостиком белелась знаменитая Аничкова усадьба, с пристройками, службами, хозяйственными учреждениями, садом и обширным двором, на котором летом ходили коровы. Почти напротив этой усадьбы красовалась дача Румянцева², с каменными львами у подъезда. Дача эта, составлявшая прежде часть Аничковой усадьбы и данная Аничковым в приданое за дочь, долго была заколочена, так как владелец ее генерал-аншеф Александр Иванович Румянцев был в немилости и сперва, в виде ссылки, был назначен командующим гилянским отрядом, а потом жил в своих деревнях. Жена его, графиня Марья Андреевна³, урожденная Матвеева, за которою и была дана эта дача от ее матери, урожденной Аничковой, с мужем не разлучалась и здесь не жила. Теперь, впрочем, они вернулись. Бирон хотел дать Румянцеву случай вновь войти в милость и назначил его в комиссию суда над Волынским, так как желал, чтобы комиссия эта состояла исключительно из русских, но таких, которые действовали бы на руку Бирону.

Проехав эту дачу⁴, каравану пришлось остановиться перед прикрытой рогатками и защищенной шлагбаумом заставой.

Пока из второй кибитки вылезал хмурый старик, пока он искал караулку и прописывал там нужные бумаги, седок передней кибитки поднялся и огляделся кругом. Это был молодой человек, с ясным и глубоким взглядом из-под длинных ресниц. Едва начинавшиеся пробиваться на верхней губе усы, высокий лоб, русые волосы и сильно развитые мускулы обозначали

² Дом графа Протасова-Бахметьева.

³ Марья Андреевна Румянцева была дочерью графа Андрея Артамоновича Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича Матвеева, убитого стрельцами в 1682 году, и Анны Степановны Аничковой, родной сестры стольника Михаила Степановича, которому и принадлежала Аничкова усадьба, купленная впоследствии государыней для графа Разумовского. Марья Андреевна была женщина европейски образованная, знала иностранные языки и весьма приятная. Говорят, что еще девицей она сблизилась с Петром Великим, который и выдал ее замуж за своего любимого денщика Румянцева, бывшего впоследствии нашим послом в Турции и фельдмаршалом. Она любила светскую жизнь и имела значительное влияние на политические кружки своего времени; жила долго – до 90 лет. Граф Сегор упоминает о ней в своих записках.

⁴ Дом г. Глазунова.

его молодость и здоровье. Тонкие черные брови его почти сходились между собою на переносице, такие брови называли тогда союзными. Выражение лица было замечательно гордо и насмешливо. В общем, нельзя было сказать, чтобы он был некрасив, но в его насмешливой улыбке было столько пренебрежения, а проницательный и упорно устремленный взгляд его серых глаз был так резок, что, думалось, не скоро он встретит такого, кто захотел бы сойтись с ним, ему ввериться, признать в нем товарища и друга. Взглянув на него, всякий подумал бы: «Эге! Да это из молодых, да ранний! Этот, несмотря на свою молодость, не разнежничается перед чужим горем, не накормит голодного... Правда, зато, надо полагать, если он что скажет, то на его слово можно положиться, но ведь лишнего-то он ничего и не скажет!..»

Вглядываясь в молодого человека пристальнее, нельзя было не прийти к такому заключению, что он ценит себя чересчур высоко, чересчур много думает о своих достоинствах и не умеет ценить достоинств других. Если он тверд в слове, не притязателен, щедр, то не от доброты к другим, а от внутренней гордости. Разумеется, все это могли говорить мужчины; другое, вероятно, думали о молодом человеке женщины. Но в то время он находился еще совершенно вне женского влияния и с насмешкой глядел на все, на чем останавливался его взгляд.

«И это столица! – думал он. – Наш Зацепинск не в пример красивее. По крайности, грязи такой нет! А это что? Ни церкви Божией, ни здания какого! Хоть бы ворота-то городские как следует сделали. Просто ни на что не похоже!»

Пока он рассуждал таким образом, а возница, опустив вожжи, зевал на проходивший народ, к каравану подошла женщина.

– Елпидифор, ты ли это? – спросила она, вглядываясь пристально в возчика.

Елпидифор встрепенулся. Перед ним стояла женщина, лет уже за сорок, повязанная темным платком, в темной, на заячьем меху, душегрейке, в темной же исподнице, как называли тогда юбку, и в валяных черных котях, подшитых кожей.

– Что глядишь, али не признал? – улыбаясь, спросила она.

Елпидифор вглядывался.

– Нет, будто бы и знакомая, а признать никак не могу!

– А забыл Феклу?

– Фекла Яковлевна, матушка! – радостно вскрикнул Елпидифор. – Да как же ты, голубушка, постарела! Никак бы не узнал!

– Да времени-то прошло немало! Вот уж годов больше пятнадцати, как я тут, в Питере, маюсь. А все я тебя сразу признала! Нельзя, впрочем, сказать, чтобы ты очень переменился! Бороду-то небось бреешь, а?

– Брею, матушка! Такая напасть на меня нашла! Трифон Савельич, приказчик-то наш, ни с того ни с сего чуть не кажинный день вздумал меня в город посылать, говорит – князь велел! Ну, тут, знаешь сама, много не наговоришь! А в город с бородой не пускают; говорят, давай алтын на въезд и на выезд! Заплатил раз, другой, – надоело, поневоле обрился! Не то я, – вот увидишь, Парамон Михайлович и тот обрился, вот что! Да как часто в город-то ездить приходится, так поневоле...

– Пожалели денег, а души своей не пожалели! Эх, грехи, грехи! – Фекла Яковлевна тяжело вздохнула.

– И рады бы не жалеть, да откуда взять-то? Ведь нонче не прежние времена, когда жили словно у Христа за пазухой! Все поборы да налоги, все стало дорого; хоть в могилу ложись, да и за ту платить надо! А о старой-то вере нонче у нас, почитай, и в помине нет!

– Ишь ты! А говорили, что князь новшеств не любит, так старину держать будет!

– Он и держит старину, да не по вере, а так, по своим обычаям! По вере же он настоящий никоновец! Приезжал тут к нам воевода, на поклон к князю нашему зашел да и говорит, что у нас беспоповщина пошла, а он прямо как есть наотрез: вздор, говорит, – никаких эдаких расколов у меня нет! Все держатся православного обычая: в церковь по старине ходят и в церкви

Божией венчаются, всех один поп венчает. Да в тот же день велел всех девок и подростков перевенчать. Так тут много не наговоришь; пожалуй, не то бороде, голове рад не будешь!

– Так-то оно так! Люди подневольные! А все бы, кажись... С чем вы сюда?

– А вот, видишь, княжича везем!

– Какого это? Не того ли, что при мне еще Параньку к нему в мамки определили?

– Того самого, матушка; а теперь, видишь, вырос!

– Господи, господа, время-то как идет! Что же, на службу, что ли, надумались? Старый-то князь ведь куда! Как потребовали княжичей на службу, так руками и ногами! Ни в жизнь не хотел отдавать!

– Да и этот не больно лез, только бог его знает, что с ним сделалось! А впрочем, по правде сказать, и не знаю зачем! Призвали, – говорят, с молодым князем едешь, ну и дело с концом! Трифон Савельич обещал через год мне на смену Фильку, фурлетора, прислать, говорит, в год приучит, а бог его знает, сдержит ли обещание!

– Кто же еще с вами?

– Из старых один Парамон Михайлович, дворецким и дядькой при княжиче состоять будет, да я возницей, или, по-новому, кучером, а то все молодые: Федор Сохатый, при тебе совсем еще мальчишкой был, да мне в помощь и вообще для черных работ взят из Зубиловки, тоже молодой, Кирилл Гвозделом! Ну, еще казачок; помнишь кривого Ермилку, от него взяли! А Селифонт – не знаю, помнишь ли его, кажись, в ученье был, как ты уехала, – так тот на паре домой поедет! С нами-то только семь лошадей останется. Ну, а сказано, что если еще что нужно будет, повар, что ли, или конюх другой, или какая там женская прислуга, так, когда устроимся, Парамон Михайлович отписал бы, вышлют! Да ты о себе-то расскажи, голубушка Фекла Яковлевна! Что ты здесь и как! Здорова ли?

– Да ничего. Вот как был жив-то мой Маркел Иванович, так Бога гневить было нечего, жили хорошо! Хоть и староват был и выпить любил, но, сам знаешь, какой он был досужий да рабочий человек! Ну и то, наших-то здесь нашлось много, а свой своему поневоле друг, выбрали его в десятники, а потом по хозяйской части стали употреблять, купить нужно что али заготовить, все это он! Жить и было чем! А как помер-то, так и впроголодь подчас насидишься! Ну, а все живу и хлеб жую: где постираю, где поворожу, а где и посватаю. Купцы меня любят, да и наших здесь довольно развелось, в молельщицы выбрали, поддерживают тоже по усердию, так оно и нельзя сказать, чтобы совсем с голоду умирала!

– А Маркел Иванович побывшился, значит? Царствие ему небесное! Усердный ревнитель церковный и слуга Божий был, только выпить любил, не тем будь помянут покойник... – Елпидифор перекрестился и посмотрел на Феклу Яковлевну ласково. – Ну, да и боялся же я его, что греха таить, взглянуть не смел! Сердитый он такой был, не приведи бог попасть под его руку!

– Не больно, знать, боялся, когда молодую жену целовать, да ласкать приходил, да за печкой в каморке прятался, пока тот заснет с похмелья!

– Молод был! Да и то: был, говорят, молодцу не укора; очень уж и ты хороша была, Фекла Яковлевна! Такая была красавица, что другой такой нонче, кажись, и нет! Все бы на тебя глядел, да не нагляделся. К тому же ты начетчица была, умница! Недаром тогда, как последний поп-то наш умер, тебя враз всем миром молельщицей выбрали. Как ты-то уехала, так все у нас вверх дном пошло, все и распадаться начало. Хоть бы про себя скажу: я чуть с ума не сошел, года три просто как шальной ходил! Любил-то тебя уж очень!

– Да и я тоже помоложе была, хоть и годилась тебе чуть не в матери. Тебе тогда, думаю, и двадцати не было, ну а я была баба в полном соку! Муж старый, выпить любил, а тут тебя по молельне мне сподручником сделали. Все вместе да вместе... как тут не быть греху! Поневоле и я по тебе поскучала. Ну да как быть! Вот Бог привел свидеться! Ты по старой памяти заходи ко мне. Меня не забывают добрые люди; сходимся и тоже иногда кое-что почитаем! Я тебя и в

молельню нашу сведу. Уставщиком у нас Ермил Карпыч; из купцов он, богач большой, да это ничего, такой начетчик, что не приведи господи! Самого Андрея Денисыча за пояс бы заткнул, коли бы тот жив был. А я молельщицей, как и у нас была, только теперь не то, теперь у нас не только что молитва, но и раденье. Придешь – увидишь! И я радею; знаешь, на сиротский зуб все что-нибудь перепадет!

Оба замолчали. Кирилл Гвозделом вышел из задней кибитки и стал что-то расспрашивать махального. Мальчишка тоже выполз на божий свет и начал скакать, чтобы согреться.

– Ну что, озаконился? – спросила Фекла Елпидифора как-то глухо.

– Как же, женили! Знаешь Марфутку, Парасковину дочку, при тебе еще девчонкой была, так на ней!

– И детки есть?

– Есть! Старшему-то десять лет минуло. В прошлом году в Москву хотели в шорники отправлять, да отмолил на год.

– Да! Время идет! Я вот старухой сделаться успела, а ты, нечего сказать, все еще бравый молодец. Приходи же; посмотришь, послушаешь, может, и опять бороду отрастить захочешь!

– Как не прийти, голубушка! Уж одно, что старое помянем, так и то радость! Я хоть душу-то отведу, голубушка, право! А у тебя, Фекла Яковлевна, детей нет?

– Нет и не было! Бог не благословил! От того ли, что Маркел Иванович, покойный, старенек для меня был или от того, что из-за живого мужа с тобой, проходимцем эдаким, гуляла, а может, и так воля Божия, только никогда и не было.

В это время Парамон Михайлович вынес бумаги, шлагбаум приподнялся, возчик, или кучер, должен был подвязать колоколец и взяться за вожжи.

– Ну-ну, голубчики, вытягивай! – машинально крикнул он, и караван тронулся.

– Так это-то Парамон Михайлович? – спросила Фекла. – Батюшки, без бороды-то он какой страшный стал! И дома-то я его недолюбливала, когда он еще человеком ходил; а теперь-то, когда он в кикимору какую-то оборотился, я уж и не знаю...

В это время Парамон Михайлович проходил мимо.

– Парамон Михайлыч! – заискивающим голосом сказала Фекла.

Тот оглянулся и всмотрелся.

– А, Фекла! – сказал он хмуро. – Тебя еще с твоим Маркелкой черти-то не унесли? Ишь, как сморщилась! – прибавил он потом в виде любезности и сел в свою кибитку.

«Тебе бы дорогу показать, проклятый, – сказала про себя Фекла, когда тот уже отошел. – Видишь, как ругается! И слова-то у них христианского, как и лика человеческого, нет, прости Господи!...»

Караван тронулся. Фекла Яковлевна шла подле Елпидифора. Мальчишка выпросил у Кирилла дозволения править лошадью и сел в заднюю кибитку. Кирилл шел рядом с Федором.

– Куда вы пристать-то надумались? – спросила Фекла.

– Да к дяденьке; к нему на двор прямо велели ехать и от него уж ждать распорядка! Ты тут старожилка, Фекла Яковлевна, верно, знаешь, скажи, где зацепинский-то двор?

– Как не знать! Ведь что ни говори, а все-таки свой! Захожу иногда, хоть и не люблю, признаться! Там все как-то не по-русскому, все по моде; да ведь мне что? Стоит он, как бы тебе сказать, подле дворцовых портомойных плотов. Вот поезжай Невской-то першпективой все прямо. Липы по бокам посажены, так не собьешься. Проедешь, сударь мой, ты этак ряды, то есть не ряды, а так, будки понаставлены, красным товаром торгуют; затем церковь Рождества, а потом будет роща; тут большой дом строить хотят, увидишь – шесты наставлены, так напротив этих самых шестов, проезжая немецкую кирку, стоит полицейский дом, где часовые стоят. Дом-от на речку выходит, Меей зовется. Через речку от него ко дворцу мост построен, Зеленым назвали, и в самом деле зеленой краской выкрашен. Ты на мост-от не въезжай, а, проезжая

полицейский дом⁵, повороти направо, прямо по речке. За полицейским-то домом будет другой дом, красивый такой, это дом князя Волконского; за ним – дворцовый прачечный дом, против которого большие портомойные плоты стоят; а за ним сейчас же и зацепинский двор. Выходит он на речку одними флигелями; забор между ними немудрый сделан, а ворота каменные и на верях-то каменные же львы посажены. Дом стоит на дворе и глядит таково редкостно. Кругом болваны да столбы поставлены, а за ним сад идет сквозь на самую улицу, что к конюшенному двору выходит. Сказать нечего, хороший дом! Да вот я с тобой пойду, так покажу, а мимо поедем, так укажу кстати, где и моя каморка!

На улице между тем начали попадаться экипажи, и чем караван продвигался далее, тем разнообразнее и богаче. Молодой человек с невольным любопытством следил за этими колымагами цугом, на шести, даже на восьми лошадях, за этими линейками, фаэтонами, раскидными каретами, – саней уже мало было, – снующими взад и вперед, в сопровождении вершников, гайдуков, скороходов, егерей и всякого рода прислуги. Смотря на эту суету, на этот блеск, для него совершенно новый, он невольно думал о своем дяде.

«И он, пожалуй, в такой же колымаге ездит, и тоже с скороходами и верховыми. А какой он, желал бы я угадать! Неужели он ходит таким же куцом, как эти бегуны, или хотя бы как зацепинский воевода? Вот смешно-то! Мой почтенный дядя, князь Зацепин, и вдруг – в чулочках, башмачках, с обтянутыми ногами, в обгрызанном кафтане, бритый, да еще в парике! Помогите Бог не расхотаться! Матушки, какая там барыня катит! На голове-то у нее будто капуста выросла и цветы! А раззолоченная развалка эта хороша, нечего сказать! И скороходы, и вершники, красиво выходит! Зато здесь больше ничего хорошего нет!»

Караван ехал в это время мимо немецкой кирки, подъезжая к полицейскому дому. Елпидифор рассказывал Фекле о своей свадьбе:

– Сам Трифон Савельич вдруг приходит...

– Неужто сам?

– Так-таки сам и пришел, прямо на конюшню! Я, помню, Соловья чистил. А он прямо: «Что ты это, Елпидифор, у меня девок смущать задумал? Говоришь, что в царицынских скитах и все без венцов живут?» – «Я, сударь, – говорю, – их не смущал, а сказал только, что коли поп не поп, так все равно и венец не в венец будет». – «Да ты мне зубы-то не заговаривай, – закричал он, – говори дело! А то, смотри, сведу к князю, пожалуй, в застенке разговаривать придется! Ты говорил Парасковьиной дочери, что в прежние поры всегда у вод да у огня свадьбы спорились?»

– Что ж ты? – спросила Фекла.

– Да что мне говорить-то было; я смолчал, а он велел Марфутку позвать и Моргача потребовал да велел розог принести. Та как увидела розги-то, да взглянула на Моргача, а тот стоит жесткий такой, пучок розог в руках держит и им помахивает, словно с родного отца с живого кожу спустить готов, – ну, разумеется, спужалась и рассказала все.

– Что же он?

– Известно, рассерчал! «Ишь ты какую затею выдумал, а? А по чем же князь тяглы-то считать будет, ты об этом подумал ли, а?» И велел меня сейчас же отстегать! Ну, а на другой день и окрутили. Она баба добрая, нечего сказать, а все бы, кажется... Ну, после за нашими-то начали туго смотреть, всех и перевели!

Федор между тем пояснял Гвозделому, что вот тут, за мостом прямо, стоит зимний дворец⁶, не настоящий, настоящий-то на Неве строить хотят, а летний, хоть и деревянный, но не в пример красивее; а это, за рощей, дом графа Апраксина, потом палаты графа Головкина⁷.

⁵ Дом голландской церкви.

⁶ Бывший дом г. Косиковского, затем г. Елисеева.

⁷ Николаевский и Александровский сиротские институты и училище глухонемых.

В этих палатах он кухонным мальчишкой жил. А дальше-то дом его зятя, Ягужинского Павла Ивановича, – генерал отважный и развеселый был такой; хоть сама царица тут будь, так он и той зубы заговаривать начал бы, да вот умер, что ты тут станешь делать?

В это время караван, не переезжая моста, называвшегося Зеленым и выкрашенного, в самом деле, зеленой краской, начал, по указанию Феклы, поворачивать вправо вдоль по набережной речки Меи, чтобы ехать к дому, который находился на месте, где теперь помещается известный ресторан фирмы «Донон».

Навстречу каравану с моста неслась карета шестерней, с двумя форейторами, вершником, двумя выездными на запятках и двумя скороходами с боков.

– Пади! Пади! – кричали форейторы.

– Берегись! Берегись! – кричали скороходы, несясь во всю прыть.

Но Елпидифор, увлекшись разговором, не поостерегся и хотя успел отдернуть несколько лошадей в сторону, но все же уносные попали в построжки пристяжной; те и другие лошади начали биться.

Выездные быстро соскочили с запяток кареты и вместе со скороходами подбежали распутывать лошадей, ругаясь, разумеется, на все лады. Один из них начал бить по морде княжескую лошадь. Федор счел своей обязанностью вступиться:

– Что ты, беспутная твоя рожа, лошадь-то бьешь? Сами виноваты, скажут сломя голову, а тоже озорничают и скотину бьют!

– Я и тебе морду сворочу на сторону! – отвечал сердито выездной. – Вишь, распустились, словно на пошехонский базар приехали!

– Ну, брат, шалишь! – отвечал Федор. – Я у самого скорей рыло-то на Пошехонь поворочу!

Другой выездной в это время хотел перерезать построжку, но Федор схватил его за шиворот.

Кучер между тем кричал, форейторы вопили, выездные и скороходы ругались, лошади бились и ржали.

Вершник, поняв, что Федор не дает резать построжки, сперва было думал взять криком, но, видя, что тот не слушает и осилил уже их выездного, ударил его арапником по лицу, но в ту же секунду сам полетел кувырком с лошади от тычка Гвозделома. Крик, разумеется, усилился. Экипажи начал обступать народ и тоже галдел.

Скороходы хотели было напасть на Гвозделома, но, видя его необыкновенную силу, не решались и стали звать свободного выездного, пока другой боролся с Федором. К ним присоединился другой вершник, должно быть перед тем посланный куда-то. Нападение было уже готово, и ему первый подвергся было Селифонт, поспешивший от кибитки к своим на выручку, так как один из скороходов уже подмял его под себя и начал тузить, но в это время раздался звонкий голос молодого князя.

– Перестать буянить! – крикнул он и сам вышел из кибитки.

Несмотря на то что в голосе молодого князя слышалась еще нежно-пискливая, детская нотка, твердый, повелительный звук и то не допускающее возражений выражение в нем гордой строгости заставили всех разом остановиться. Скороход отпустил Селифонта; Гвозделом спрятал свой железный кулак, занесенный уже над другим скороходом; Федор выпустил из рук выездного, а другой выездной остановился в своем намерении напасть на Гвозделома; вершник, поспешавший было к своим, тоже осадил лошадь и хлопал глазами, смотря на молодого человека, который распорядился.

– Отстегивай построжки у Арабчика, Елпидифор! А ты отводи свою уносную! – приказывал молодой князь. – Заворачивай кибитку! Вот так! Селифонт, возьми коренную под уздцы, ворочай! Ну...

Вероятно, не прошло бы и несколько секунд, как спутавшиеся лошади были бы распутаны, но из кареты вышел господин и презрительно, закинув назад голову и как-то подергивая своими морщиноватыми, бритыми губами, спросил, картавя:

– Какой там человек разбойничать смель имеет?

Ему никто не отвечал. Он рассердился.

– Кидай! Опрокидывай их! – закричал рассвирепевший немец, увидев, как поднимали сбитого с лошади его вершника, который едва начинал приходить в себя.

– Что? Я скорее вас всех велю вот в эту речку швырнуть! – грозно, несмотря на свой полудетский голосок, сказал князь. – Не смей подходить! Кирилл, не подпускай!

Гвозделом расправил руки и захватил в кулак булыжник.

Вершник соскочил с лошади и доложил своему барину, что им не справиться, так как у противников есть страшный силач... Не прикажет ли призвать городских?

Господин прямо подошел к князю.

Это была длинная и довольно красивая еще бритая немецкая фигура, с маленькой треуголочкой сверх парика на голове, обернутая кружевами вокруг шеи и в длинном фиолетовом бархатном плаще.

– Кто тут разбой смеет чинить? – спросила фигура, обращаясь к молодому князю.

– Никто, кроме ваших людей, – пренебрежительно отвечал князь. – Сами виноваты, да сами и буйствовать начинают.

– Отчего дорогу дать вы не могли?

– Кто тебе обязан дорогу давать? Сами должны были своротить! Впрочем, и тут мой возница своротил, сколько было можно; не на мостки же ему въезжать было? А вы скачете как бешеные...

– Как вы разговаривать со мной так можете?

– Отчего не говорить, когда я говорю дело? – гордо отвечал князь.

– Кто вы такой, что смеее со мною такой говор сказывать? – прикрикнул было расхो-дившийся немец.

– Что ты за ворона, что смеешь меня так спрашивать? – презрительно отвечал князь.

– Я ворон? Я?... О! Я гофмаршал двора ее величества, граф Левенвольд! – отвечал немец. – Кто вы, маленький...

Вероятно, он хотел прибавить слово «скотин», но, взглянув на князя, остановился.

Князя немножко покорило от слова «ее величества», тем не менее он твердо ответил:

– Я князь Зацепин, если ты хочешь это знать!

Имя Зацепина заставило в свою очередь немножко поморщиться Левенвольда, тем не менее он, не изменяя своего голоса, сказал:

– Хорошо, молодой человек, вы увидайте, кто из нас кому уступать должен! Вы не забудьте это! Я позабочусь, чтобы вы не забыли!

– Я тоже прошу не забыть нашу встречу и, наверное, позабочусь о том напомнить! – дерзко отвечал молодой человек.

В это время лошади были уже распутаны, и князь сел в свою кибитку. При помощи своих людей сел также в свою карету Левенвольд и мигом исчез из глаз с своими скороходами и вершниками, предшествуемыми криком форейторов. Караван в это время плелся прежним порядком по набережной Мойки, или так называемой тогда Меи. По указанию Феклы он въехал на двор, посредине которого стоял небольшой барский дом, с колоннами, статуями, вазами, солнечными часами и другими подражательными затеями французского Трианона, приносившими к нижегородскому вкусу. Кибитка с кожаным верхом подъехала к выступающему из фасада в виде портика крыльцу; другие две кибитки по указанию привратника должны были въехать в ворота одного из боковых флигелей и отправиться на задний двор.

К кожаной кибитке подошел швейцар.

«А что, если он вдруг совсем не захочет меня видеть?» – подумал невольно молодой человек и вздрогнул от гордости; однако ж он приказал доложить, что молодой князь Зацепин желает дядюшке отдать свое почтение. Швейцар позвонил, подбежал официант. Ему пришлось повторить то же, что было сказано швейцару. Через минуту сбежал сверху другой официант и проговорил:

– Приказали просить и проводить в орлеанские комнаты.

Молодой человек задумался от этих слов.

«Что это значит? Какие это комнаты? – спрашивал он себя. – Отчего не ведут меня прямо к дяде? Ведь я ему свой, близкий, родной племянник! Отчего же не принимает он меня как своего, как близкого?»

Несмотря, однако ж, на эти вопросы и возникающее в нем сомнение, он не сказал ни слова.

Федор при помощи швейцара помог ему выйти из кибитки; швейцар передал его официанту словом: «Проводи!» Официант, поклонившись, повел его из просторных, обставленных тоже колоннами и статуями и устланных красным сукном с серой дорожкой сеней по широкому коридору в назначенные ему покои. Там встретил его дворецкий с приветствиями и объяснениями от дядюшки.

Но мы должны познакомить читателей с молодым человеком, прибывшим теперь в Петербург, чтобы сделать свою карьеру под покровительством дядюшки, и начавшего ее столь неудачно – ссорой с одним из влиятельнейших тогда любимцев двора. Для этого заглянем прежде в усадьбу его отца.

II

Русский помещик первой половины восемнадцатого века

На берегу реки Ветлуги, в глубине костромских лесов, которые в то время по справедливости признавались непроходимыми, прихотливо раскинулось село Зацепино, место рождения нашего юноши и одна из родовых вотчин древнего и славного рода князей Зацепиных.

Зацепино было большое село. Оно тянулось вдоль правого берега реки и состояло из нескольких улиц, перпендикулярных ее течению, застроенных деревянными и большей частью весьма чистыми домиками, так как лес был под боком и никто не мешал рубить его сколько душе угодно. В селе были: две церкви – одна каменная, другая деревянная; торговая площадь, на которой тянулась линия базарных рядов; три завода, несколько кабаков, особое кладбище с деревянной часовней при нем и высокой бревенчатой оградой от волков. Княжеский дом, или, как говорили тогда, княжеские хоромы, стоял на выезде из села, на высоком холме, по скату которого до самой реки расстился сад, идущий вниз по течению реки версты на полторы.

Княжеский дом был тоже деревянный с единственной каменной старинной башней. Дом этот представлял удивительное смешение сборной постройки. Основанием ему служил крепко сложенный из дубовых брусев, на фундаменте из дикого камня, сруб, составлявший часть небольшой сторожевой крепостцы, выстроенной одним из предков князей Зацепиных еще в то время, когда нужно было беспрестанно опасаться нападения остяков, вотяков, вогуличей и других югорских народов. В то время вся эта страна, со всеми своими городами и пригородами, со всеми селами, деревнями и починками принадлежала князьям Зацепиным и составляла их родовое великое княжение, разделяясь, по обычаю рода, на несколько удельных княжеств, зависимых от старшего в роде князя Зацепина, как от старшего брата и отца, в то время как этот старший брат и отец в свою очередь считался младшим братом и удельным князем великого князя всея Руси, князя суздальского, владимирского и нижегородского. Когда князья Зацепины, оставленные, даже, можно сказать, выданные своими удельными князьями, должны были уступить свое княжество и свой стольный город Зацепинск великому князю московскому Ивану Васильевичу, то они выбрали для своего местопребывания эту сторожевую крепостцу с каменной дозорной башней и пристроили к ней брусную избу, два терема и сенцы. К этой постройке, в плане представлявшей вид молота, последующие владельцы приделывали и пристраивали, по случайным требованиям, кому что вздумалось, каждый по своему личному вкусу. Можно себе представить, какой из всех этих приделок и пристроек вышел архитектурный сумбур! Флигели, башни, переходы, балконы самых невероятных форм и стилей, с самым разнообразным назначением и различными причудливыми украшениями в виде петухов, шаров, шпилей, коньков, грифов и цветов – все это было настроено, нагромождено, можно даже выразиться, напутано. Таков был зацепинский дом, или зацепинские палаты, построенные грубо, некрасиво, но с прочностью изумительной, так что хотя от времени все почернело, частью даже обросло, но нигде не покривилось, не тронулось, и можно было быть твердо уверенным, не тронется и не покривится еще сотню лет.

Дом этот был окружен службами, хозяйственными учреждениями, садовничьими и охотничьими домами, теплицами, сараями, амбарами и отдельными помещениями. К каждому из таких помещений были пригорожены садики, огороды, дворы, примыкающие к огромному, обсаженному липами красному двору, соединяющемуся, с одной стороны, с княжеским садом, а другой стороной подходящему к самой торговой площади села.

Все это было полно с утра до ночи снующим взад и вперед народом; повсеместно оглашалось собачьим лаем, криком петухов, мычаньем коров, блеяньем овец, ржаньем лошадей и руганью возчиков. Если кто может все это себе вообразить, то получит ясное понятие о княжеской усадьбе села Зацепина в тридцатых и сороковых годах прошлого века.

В этом-то образчике вавилонского столпотворения проживал с женой и детьми старший представитель знаменитого рода князей Зацепиных, князь Василий Дмитриевич Зацепин, отец того юноши, князя Андрея Васильевича, которого мы видели въезжающим в Петербург.

Это был худощавый, сухой, довольно высокий, но сутуловатый старик, с густыми поседевшими волосами и небольшой русой, с проседью, бородкой. Густые, нависшие и тоже почти сросшиеся брови, темно-серые сверкающие глаза, прямой нос и тонкие, но без малейшего оттенка улыбки губы придавали ему суровое, вместе с тем и грустное выражение. То было не выражение гордости его сына, – пылкой, отважной, задирающей, то была просто суровость, немая, подавленная, или выражение той же гордости сына, но молчаливой, сосредоточенной. При первом взгляде на старика казалось, что сын вовсе не похож на него, но, взглядевшись в того и другого, нельзя было не признать, что каждая черта сына была точная копия с лица отца, так что приходилось сказать, что сын походил на отца вполне, но походил так, как ясное, светлое утро походит на сумрачный вечер. В сыне была суровость и гордость, но была уверенность в себе, была сила; в отце тоже была суровость и гордость, но – больше ничего!

Зато в глазах старика, в его грустной улыбке, в морщинах его высоко поднятого чела светилась мысль. Мысль, рассматривающая, разбирающая, думающая, хотящая доискаться оснований, открыть начала, найти корень. Видно было, что это человек, не бросающийся на решения, не полагающийся, что ему все должно прийти само собою; но человек, оценивающий всякий предмет и событие сообразно их сущности; человек, сравнивающий, обдумывающий и сознательно определяющий то, чего должно было в них искать, чего должно было достигать и чего избегать.

Правда, по его сдержанности, сосредоточенности и определенности можно было быть твердо уверенным, что решения, им окончательно принятые, он уже круто приводит в осуществление, что он уже не колеблется, не останавливается, не сдается на полумеры, но со всей суровостью и с неизменной точностью выполняет их. Но самая эта точность и неизменность, самая крутость осуществления были следствием тех колебаний, того сомнения, того всестороннего обсуждения, которые предшествовали данному решению, поэтому были не пустое упорство, не упрямство, а сознание.

Вот и теперь он в борьбе с самим собой. В его больших, глубоко впавших серых глазах светится дума. Мысль гнетет его, давит, грызет... И он не может ни одолеть ее, ни отбросить. Она въелась в его мозг, охватила собой все его существо. Он невольно борется со своим сомнением, невольно обращается к себе и спрашивает: «Оно ли? То ли?» – и невольно перебирает в памяти все, что можно сказать «за» и «против»!

Он был известен как самый строгий ревнитель старины, как ярый и упорный враг всяких новшеств, какими были и его отец, и его дед. До сих пор он не отступал ни перед какими затруднениями, чтобы отстаивать то, что он считал правым, и удерживать все, что от него зависело, в кругу старых, вековых обычаев Древней Руси, переходивших по преданию от отца к сыну и бывших как бы неизменным законом их рода. Он стоял за этот родовой закон. В восемнадцатом веке он не забыл ни родового права Рюриковичей, призванных владеть и княжить на Русской земле, ни порядка, коим право это определялось. В восемнадцатом веке он помнил все, что завещали ему хранить как святыню его отец и дед, которые, в свою очередь, принимали эти заветы от своих предков, хранителей доблести старинного русского рода, колена Рюрика.

В доме у него все было просто, все по-старинному, так, как, надобно полагать, было устроено еще основателем села Зацепина, его предком, тем самым Зацепиным, который был вынужден выехать из своего стольного города Зацепинска и уступить его по договору, вместе с своим родовым двором и всем княжением, собирателю земли Русской. Это было давно, очень давно! Более двух с половиной веков прошло с тех пор, как он подписал этот договор. Девять поколений уже кануло в вечность, после того как родоначальник их мог говорить о себе как о самостоятельной единице Древней Руси. Несмотря на то, все они помнили, что, умирая, он

сказал детям и внукам своим: «Бог наказал нас, дети, за грехи наши, за грехи рода нашего, но в его воле нас и помиловать! То, что взято силой, силой же может быть и отнято. Молитесь и ищите силы! Да не забываете рода своего! Не забываете, что вы есть и чем должны быть! Не забудете – вас и Бог не забудет!»

И они не забывали, ни на одну минуту не забывали, передавая от поколения к поколению целый ряд преданий, пока этот ряд не дошел преемственно до него. И он помнит эти предания, держится их во всем по старине, как отец, дед, прадед и все Зацепины держались. Он говорит: «Силой могут все взять, – волей не дам ничего! Против силы я тоже буду искать силы, и то, что отнимут у меня, я также могу отнять!» Он знал, что так думали и дед его, и отец, целый век отстаивавший свои родовые предания и едва не заплативший за то своей головой в грозное царствование Петра.

– Не люблю я этих новшеств! – говорил обыкновенно князь Василий Дмитриевич, когда ему предлагали что-нибудь новое, служащее к удобству или спокойствию. – Наши деды без них тысячу лет прожили, так нам мудрить тут нечего!

То же самое говорили его отец и его дед. И ни они, ни он не мудрили. Они не допускали ни малейшего отступления от того, что установилось веками, не принимали никаких изменений, которые могли бы дать повод думать, что и они могут смотреть по-новому.

Такая нелюбовь Зацепиных к новшествам и всякой отмене старого порядка неоднократно возбуждала ошибочные надежды тех, которые, не понимая начал, из коих такая нелюбовь в них исходила, полагали встретить в них сочувствие, когда сами тоже вооружались против нового и отстаивали старое. Эти надежды постоянно обманывались. Князья Зацепины видели новшество в том, что другим давно уже казалось стариной. Они видели новшество даже в том, что было нужно отстаивать от новшеств. Напрасно Трубецкой и Ляпунов в Смутное время на Руси посылали посла за послом к Зацепиным, – они не дали даже отзыва. Правда, предок их был не прочь вести на Москву нижегородскую рать, но не захотел стать под стяг Пожарского. «Эта нижегородская, суздальская и владимирская рать моя, – говорил он, – поэтому я должен и вести ее на мою отчину и дедину Москву, которая за прекращением московского дома тоже должна быть моя! Так при чем тут Пожарский, какой-то стародубский князек?» Напрасно хлопотали потом сблизиться с отцом и дедом Василия Дмитриевича сперва князь Мышецкий, потом князь Василий Голицын, Хованский и другие; ни смуты в царствование Алексея Михайловича, ни происки Лопухиных и Кикиных – ничто не могло вызвать себе сочувствия князей Зацепиных и прекратить их упорную пассивность.

«Какое нам дело до всех этих московских затей? – говорили они. – Наше дело Зацепинск, наше родовое княжество! Там, что по роду приходится, еще рассудим! А нет, так пусть мутят, как хотят!»

Таким образом, ни государственные, ни религиозные, ни династические события не могли оторвать князей Зацепиных от их преемственного родового начала, не могли вызвать их на активную деятельность. Когда Мышецкий доказывал князю Дмитрию Андреевичу, деду Василия Дмитриевича, что патриарх Никон не прав; что все придуманное им – внушенное дьяволом новшество; что крест и венец должны идти посолонь; что знамение христианства должно быть двуперстное; что нельзя по воле изменять слова, принятые в святыях книгах, так как «книги эти были установлены, приняты и переходят из века в век; по ним молились многие сподвижники Церкви и святые венцы заслужили; поэтому одно из двух: или не правда, что милость Божия осенила их, или переменять ничего нельзя!».

Дмитрий Андреевич вслушивался в эти слова, вслушивался долго, раздумывал, разбирал, потом отрезал разом.

– Оно, может, и так, княже, – сказал он. – Может, ты и прав, что у патриарха нашего ум за разум зашел и он перемудрил! Может, и точно, что его сатанинская гордость обуяла. Да вот что я тебе скажу: дело-то это их, поповское, а не наше, княжее. По-моему, посолонь или

противосолонь, а поп окрестил или обвенчал, и слава богу. Какое мне дело, так ли он читал, что там написано. Это дело его совести и разума. Ему дана власть решить и вязать, ну пусть решит и вяжет. Я принимаю то, как он решит. А коли он решит неправильно, на его душе грех. Мое дело – на деле да на правде стоять!

Говоря это, Дмитрий Андреевич думал про себя: «Все это затеи московского боярства, их чванливые пререкания и местническая привередливость! Ишь, какую затею выдумал: попов учить! А тоже, говорит, князь! Чертов он князь, вот что! Я и колена-то эдакого Мышецкого в князьях никогда не слыхал! А наделает же он им хлопот, коли не сумеют перехватить в самом начале, и в сотню лет не расхлебают! Ну да пусть их грызутся!»

Когда Мышецкий начинал горячиться и доказывать, что так нельзя, что вера их, а не поповская, что они должны рассудить, Дмитрий Андреевич думал:

«Ври, ври, Денисыч, с вранья мыта не берут. Меня-то уж ты, наверно, не подденешь. Да мне и нельзя. Я не какой-нибудь Мышецкий. Мне в ваши местнические споры, в ваши домашние белендрысы входить нечего. Мне все равно: Милославский, Хованский или хоть ты, Мышецкий, или Нарышкин. Все одинаково слуги слуг предков моих. Правда, первые-то нашего же рода, Рюриковичи, но прежде всего ведь не Зацепины же? А потом – назвался груздем, полезай в кузов! Сами в бояре пошли к московским князьям, так и верстайтесь с их боярами всласть».

Совершенно согласно этому рассуждению князь Дмитрий Андреевич отделялся от заискиваний всех противников Петра, хотя сам был его ярим противником.

– Все это тоже новшество, тоже московская затея, – говорил он.

И точно, оно не могло не казаться новшеством для него, не примирившегося еще с государственным началом Московского царства и смотревшего на самую Москву как на княжество младшей отрасли его дома.

Зато когда у него в Зацепине началась было беспоповщина, то он принял столь крутые меры, каких не принимал ни до него, ни после него ни один самый закоренелый фанатик обрядности. Вожаки раскола, думавшие видеть в Зацепиных поддержку своим замыслам, голову потеряли, встретив такое противодействие. Они не могли понять, каким образом такие ревнители старины, как Зацепины, могли стать на сторону новшества, и в объяснение такой казавшейся им странности могли придумать только то, что высказал Трифон Савельевич Елпидифору, то есть, дескать, коли попы венчать не будут, так по чем же князь свои крепостные тягла считать будет? Не понимали они того, что для Зацепиных не только их притязания, но и самое крепостное право было не старина, а новшество; такое же новшество, как и самое Московское царство.

Василий Дмитриевич так же стоял против раскола, как и его отец. Он стоял против соединения, общения, против единства. Он стоял за род, за отдельные права, сближаемые только общностью родового начала. Он себя не жалел, борясь за эти начала, точно так же, как не жалели себя ни его отец, ни дед, ни все Зацепины, не сдаваясь и не уступая ни на один волос из того, что они признавали своим. Неужели все эти общие усилия, вся эта борьба против всего, что врывалось в жизнь, были только пустой, напрасной тратой времени?

Но ведь на такую трату времени, на такую борьбу ушла жизнь не одного поколения. Сотни лет от одного к другому, от другого к третьему передавалось то, что их поддерживало, оживляло, давало им силу упора. Неужели и самый упор этот был только недоумение, был только ошибка?

«Нет, не может быть! Мог ошибаться я, мог ошибаться мой отец, дед, прадед, но чтобы ошибались все, чтобы ошибались целые поколения князей умных и твердых, чтобы, начиная от Ярослава Мудрого до Даниила Васильевича, от Даниила Васильевича до моего отца, никто не взглянул прямо, – этого не может быть! Между тем... между тем вот два старца, два отшельника, ничем не сходные один с другим, на двух концах Руси, оба одинаково пишут... Пусть

вот этого я не знаю, – думал Василий Дмитриевич, указывая на один из свитков, – а этот – наш предок, знающий наши воззрения, отшельник, умудренный самим отшельничеством, рассуждающий и обдумывающий. Он явно говорит... Как же это?..»

Князь Василий Дмитриевич сидел в это время у себя в своей княжьей горнице на кресле с княжеской короной. Но прежде нужно рассказать, что это за княжья горница и что это за дом, в котором возникла эта борьба начал.

С так называемого красного крыльца, прирубленного к середине дома, широкая дубовая дверь, обитая толстым сукном и в летнее время всегда настежь отворенная, вела в просторные сени с лавками кругом для приходящих и прислуги. Из сеней несколько дверей вели в различные отделения дома. Одни, главные, вели в гостиные палаты, другие в брусяную избу, третьи в кладовые, четвертые на приезжую половину, наконец, пятые в так называемую испокон века княжью горницу.

Гостиные палаты состояли из трех горниц. Первая была большая комната с выходом в сад. Она была обшита тесом, украшена русской резьбой и обставлена небольшими диванчиками, с небольшими столиками и стульями-табуретами у каждого дивана. Посредине комнаты, на низенькой скамейке, стоял фарфоровый горшок с божьим деревом, выросшим до самого потолка. По углам стояли горшки с растением богородицыны слезы. На полу был разостлан большой, почти во всю комнату, кызылбашский ковер. Вторая комната не была обита ничем. Стены ее были просто бревенчатые и не стесанные. Но к ее стенам в разных местах были приделаны полки, поставцы и подставки, на которых были расставлены редкие произведения китайского досужества: фарфоровые цветы, картины, сделанные из рыбьей чешуи, разные работы из слоновой и мамонтовой кости. На поставцах стояла также дорогая и редкая посуда из золота, серебра, перламутра и черепахи. Эту комнату обвивал кругом мягкий диван, над которым висело несколько портретов предков князей Зацепиных. Между ними нельзя было не обратить внимания на один, изображающий больного, истощенного старца в монашеской одежде, указывающего на начертанные на стене кельи слова: «Аз упокою вы!» Посредине этой комнаты висела серебряная с хрустальными привесками люстра. Третья гостиная была обтянута холстом, на котором была нарисована соколиная охота, и обставлена стульями, без задников, с боковыми ручками и столиками, с нарисованными на них шашечницами. Новшество убранства этой комнаты было введено дедом Василия Дмитриевича, Дмитрием Андреевичем, страстным любителем шахматной игры и соколиной охоты и не раз охотившегося с царем Алексеем Михайловичем.

Из второй гостиной был выход в большую столовую, или трапезную, палату, соединенную галереей, или, как тогда говорили, галдареей с трапезной, кухней и пекарней и обставленную кругом посудой: серебряной, оловянной, фарфоровой и в весьма небольшом количестве хрустальной. Из столовой особый выход вел во внутренние комнаты княгини – ее уборную, швейные, девичьи, наконец, в общую князя и княгини спальню, которая, переходом через несколько комнат, соединялась с брусяной избой, где князь чинил суд и расправу по своим обширным именьям и все стены которой были заняты прибитыми к ним крючками с навешанными на них во множестве счетами, бирками, заметками, образцами и всем, что могло быть нужно по хозяйству.

Из уборной княгини лестница вела в девичьи терема, занятые княжнами и их прислугой; из брусяной избы был ход в детские комнаты княжат.

Приезжую половину описывать нечего. Она была такой же, какие устраиваются и теперь, то есть состояла из коридора с комнатами по бокам. Кроме приезжей половины, гости могли помещаться в башнях, флигелях и разных пристройках, где находились также помещения для высшей дворни: княжеской барыни, дворецкого, конюшего, постельничего, управителя, приказчика и так далее. Кроме них, в доме помещалось еще несколько приживальцев и приживалок, два шута и одна дурка. Между службами целая слобода занималась дворовыми мастера-

выми и разночинцами. По тогдашней переписи число собственно дворовых по селу у князя Василия Дмитриевича Зацепина числилось четыреста двадцать восемь душ мужского пола.

Перейдем к описанию княжьей горницы.

Княжья горница по назначению своему была тем, что не только теперь, но и тогда уже звали кабинетом. Она состояла из двух срубов, представляющих как бы совершенно отдельные комнаты, соединенные между собой небольшим переходом в два света. Первая часть комнаты была обставлена кругом дубовыми шкафами, из которых в одном хранились фамильные бумаги рода князей Зацепиных, их переписка, отчеты по имениям и дому; в другом шкафу были книги, большею частью духовного содержания, среди которых пользовалась тогда преимущественным, едва ли заслуженным почетом «Рукопись камня веры» Яворского.

Тут же лежало несколько свертков, заключающих в себе исторические предания, географические и этнографические описания разных стран, описание космических явлений, путешествия русских людей в Царьград и к святым местам, например игумена Даниила Заточника и других паломников, замечания о разных случаях в физическом и атмосферическом отношениях. Тут же лежал Брюсов календарь, предсказания Мартына Задеки и связки ведомостей и указов. В других шкафах сохранялись платье, вещи, оружие, пояса, шапки, меха и другие предметы быта и домашней утвари, чем-нибудь замечательные в историческом или художественном отношении.

Вторую часть княжьей комнаты, весьма светлую, так как в ней окна были прорезаны в трех стенах, занимали: во-первых, в переднем углу божница, большой шкаф с образами в золотых, серебряных и шитых жемчугом и золотом ризах. Перед образами денно и ночью горели две лампы, по одной на каждой стене угла; горели также лампы против складней, сделанных из золота, серебра, кипариса, черного дерева и слоновой кости, расположенных между окнами по другим стенам. На задних простенках, отделяющих эту часть комнаты от прохода, висели большие, искусной работы портреты отца и матери Василия Дмитриевича, его самого, его жены и мальчика, его брата, князя Андрея Дмитриевича.

Около переднего угла, ближе к середине, стоял большой дубовый стол, на котором лежала куча бумаг и находилось несколько образков и крестов со святыми мощами, перед которыми тоже горела лампадка.

Вдоль стены этой части комнаты тянулись лавки, кругом стола были поставлены табуреты, скамьи и большое кресло, украшенное позолоченной княжеской короной. Лавки, скамьи, табуреты были обиты войлоком и покрыты зеленым сукном. Несколько ковров висело между окнами на стенах. На кресле лежала вышитая подушка. Пол комнаты был обит циновками, на которых были дорожки из серого, обшитого красной каймой сукна. Перед креслом на полу были брошены медвежьи шкуры.

Вот в этом единственном кресле княжьей горницы сидел князь Василий Дмитриевич за столбцами рукописей, взятых из его книжного шкафа. Столбцы эти были именно те, которые вызвали вопрос: прав ли он, правы ли были предки его, что отстаивали свой быт и свои обычаи в такой степени, что отделились от самого хода жизни, стали непонятными, даже прямо противодействующими тому, чего так усиленно добивались, то есть возвышения своего рода перед всем, что некогда перед ним склонялось? Правы ли они были, что не только он сам, его чада и домочадцы, но даже самый дом, самый порядок жизни, им принятый, идут прямо вразрез тому, к чему стремятся теперь все, начиная от императрицы до последнего приказного и мелкой сошки помещика.

«Обсудим сначала, – думал он. – Мы не верстаемся ни с кем – это так. Кто должен быть выше всех, тому нечего и не с кем верстаться. Но они богатеют, а мы беднеем. Это уже вопрос, это сущность, которая не может возвышаться. Оно понятно, дело раздела: отец должен был выделить одну волость, я уже две. А что, если у Андрея будет пять сыновей, и у этих сыновей будет тоже по пяти, ему уже внуков, тогда, пожалуй, и выделять будет нечего... А затем? Мы еще

держимся, но почему? Потому только, что, будто нарочно, пращур, прапрадед, прадед и дед все одни в семье родились, выделять было некому! Ну а вот теперь началось... Бедным кемским князьям теперь, почитай, не то что о роде, да о хлебе думать так впору. Монах прав, говоря, что коли всея Руси, от Каменного хребта до Хвалынского моря, нашему роду делить мало было, так достанет ли какого ни на есть там села Зацепина? А если так, то дело не на том стоит и мы, не двигаясь вперед, явно идем назад.

Я целовал крест отцу и деду стоять твердо на родовом начале, себя для рода не жалеть. Видит Бог, жалел ли я себя! Я не унизил, не обеднил, ничем не уронил своего рода, не стал ни с кем в версту. Я держался особняком, был тем же, что и предок наш Данило Васильевич. Но если выходит, что именно потому, что мы все стоим на своем, что не сдаемся и не отступаем, мы и остаемся назади, то каким же образом идти, да не то идти, а и детей, и внуков своих вести по той же дороге, на которой заведомо они должны исчезнуть, пропасть, измельчать, как кемские, кубенские, заозерские и другие наши родичи и удельные наши князья, потомки тоже князя Юрия и Владимира Мономаха? Ну подумаем, разберем, рассмотрим! Вон Толстопузов умер и оставил семь сыновей. Всем им от отца досталось больше, чем получил от своего отца он сам. Отчего? От того, что он варницы держал, торговал, старался свое добро увеличить, нажить. Он, разумеется, не уронил своего рода. Вон Толстопузовы из каких-то офень стали богатые купцы, у которых и дело, и капитал есть. Если теперь все его семь сыновей будут также хорошо дело вести, а им вести хорошо дело с деньгами уж легче, чем было отцу, то они оставят детей своих еще богаче, хотя бы у каждого опять было по семи сыновей. А мы? Прадедушка Кубенских был очень богат, все Заозерье его было, а как выделил пяти сыновьям, да у старшего-то было опять пять, так у старшей-то ветви, из которой я княгиню мою взял, кое-что еще было, а младшие-то хоть коров гонять ступай. Вот те и княжество! Этого ли мы хотим, этого ли добиваемся? Сосед мой по Шугароновке, Каблуков, был так себе, из боярских детей, мелкая сошка! Что у него – дворов с пятьдесят, не знаю, было ли? А вот теперь, смотри: словно князь какой обстроился, и, говорят, мошна толста! У него три сына. Разумеется, каждый будет богаче и важнее, чем был он. А отчего? Он служил, он дело делал! А мы что делаем? Помню, как провожали брата Андрея, плакали как по покойнику; а теперь он в чести, даже немцы, говорят, ему кланяются! Отец назначил ему едва пятую часть того, что назначил мне, а он давно богаче меня! А все оттого, что служит, дело делает, а мы спим. Говорят, береги денежку на черный день, не мотай. Хорошо. Вот я не мотаю и скопил-таки кое-что. Но там как хочешь, а скупостью рода не поддержишь, особливо как наделы большие делать придется. Да ведь и дочерей нужно же устраивать да награждать. А что, если, как у моего отца, все черные дни будут и сколотить-то будет не из чего? Ясно, все в разгром и разоренье пойдет. Какой уж тут будет род? Совсем захудает! Да и чего мы ждем? Разгрома, разъединения! Монах опять прав, когда говорит: «Не желай худого, не то тебе худо будет, ибо в худом только худое!» Ну да вот и был такой разгром, что же, вспомнил ли о нас кто-нибудь? Нашелся ли хоть один голос, который заговорил бы, что вот есть родовые князья, прямые потомки князя Юрия Владимировича, основателя Москвы, от старшего внука его Василия Константиновича, сложившего живот свой за Русь святую и веру православную против лютой татарвы. И что князья эти истые, настоящие, которые ни в службу ни в чью, ни в версту ни к кому не шли, и что теперь старшие из этих князей – князья Зацепины! Нет, такого голоса не нашлось. О нас забыли. Да как и не забыть, когда, пожалуй, мы скоро сами себя забудем? Вон Хохолковы, так те и князьями зваться уж перестали. О ком говорила тогда Русь? Кого вспоминал народ? Сперва народ выбрал какого-то татарского выходца, положим хитрого и умного, но который одним татарским именем своим, кажется, должен бы был от себя отталкивать. А его выбрали, и он царил. Откуда же он взялся? Как его узнали? Узнали оттого, что он был первым служилым человеком, что все делалось его именем!..

Ну, он не выстоял, и не выстоял благодаря немецкому новшеству: к земле народ прикрепить задумал, – в неметчине, видите, все так! Боярам было это на руку, но нам, которые опирались не на бояр, а на всю Русь православную, разумеется, такое новшество было некстати. Но нас не знали, а знали бояр, и вот о нас, которые ни перед кем не склонялись, ни с кем не якшались и ни от кого, кроме Бога, не зависели, никто и не подумал. Выбрали сперва Кирдяпина потомка, правда, нашего же рода, Мономаховича, но который давно в изгоях считался и с боярами в версте стоял! Опять, почему выбрали? Потому что его знали, а знали оттого, что он был служивый человек, важный московский боярин, с боярами сошелся и для них должен был быть хорошим царем. Не устоял и он, – что же? О ком была речь? О Мстиславском, Оболенских, хотя все они черниговского колена, даже не Мономаховичи и по роду далеко нам в версту не идут. Потом стали говорить о Трубецких, Голицыных, Пожарском, хотя ни Трубецкие, ни Голицыны даже не Рюриковичи, а литовского рода от князя Гедимина, а Пожарский, пожалуй, Рюрикович, но дальнего колена стародубских князьков, и в своем-то роду числившийся в изгоях, который, почитай, и сам не думал не то с Зацепиными, но и с Трубецкими верстаться. Отчего же? Все опять потому, что они были служилые князья, что их знали, слышали хоть имя и что у них сила была! Да чего? Как Кузьма Минин стал в Нижнем народ собирать, мой пращур сам в Нижний ездил, думал, может, ему рать дадут. А был он молодец, сказать нечего, с медведем один на один боролся, так нет – выбрали Пожарского! Все оттого, что Пожарский был служилый князек, был воевода, хоть дальнего какого-то городка, и становился в третье подручные земской рати на правом крыле, если крылом заправляли Воротынский или Долгорукий. Но его все же знали; о нем хоть слышали; а о нашем пращуре никто никогда и не слышал!

Ну смирили смуту, опять выбирают, и кого же? Даже не Пожарского, не князя, а молодого птенца старинных служилых московских бояр, которых все знали, которых уважали, потому что испокон века они служили на виду у всех!

Не видимое ли указание, не перст ли это Божий, который как бы внушает, что, дескать, было одно время, теперь стало другое, как бы указывает на то, что князь Ромодановский был прав, сказав моему отцу: «Дескать, прошлое ушло, теперь новое ловить нужно!» Как же тут быть? Что же тут делать?

Положим, что мне делать уже нечего! Я свое прожил, мне начинать теперь поздно! Но дети, дети? Ну, Андрей как-нибудь с Зацепиным и всем, что я ему оставляю, еще будет на ногах стоять, ну а что, если у Дмитрия или у Юрия пять или шесть сыновей будут? Ведь они в кожу кемских князей влезут! А их внуки?... Нет, так нельзя, никак нельзя!

Монах, наш предок и родич, опять прав, тысячу раз прав, когда говорит: «Иже не несет тяготы, не зовется и к брашну!»

Но опять, неужели вся моя жизнь, вся жизнь моего отца, деда и всех Зацепиных была только пустое самообольщение? Неужели Данило Васильевич, отдав княжество свое, уступая, силе, должен был идти в служилые князья, чтобы не мытьем, так катаньем наверстать то, что он терял?

Да! Положим, он сам и не должен был! Но он и его потомки должны были смотреть, следить, наблюдать, куда идет жизнь и, согласно тому, вести дело. А они упорно стояли только на одном; удивительно ли, что их обходят все, которые идут, когда они стоят на месте?»

Василий Дмитриевич вспомнил своего отца, князя Дмитрия Дмитриевича Зацепина. Он был тоже суровый старик, такой же, каким теперь он сам стал.

У него также были густые союзные брови, серые выразительные глаза, седые волосы и небольшая русая с проседью борода.

Он был тоже решительным врагом всяких новшеств и тоже стоял на том, чтобы не отступать от старых обычаев Древней Руси. Большую часть последней половины жизни своей он провел в упорной борьбе за старый порядок против преобразований, вводимых царем-преобразователем, и чуть жизнью не заплатил за то.

Борьба была действительно упорная. В руках царя была сила, а в его груди железная воля, способная сломить всякое сопротивление. Князь Дмитрий Дмитриевич это сознавал, тем не менее решил, что он князь Зацепин и, ради спасения своей головы, уступать не должен.

«Против силы, разумеется, хитрить нужно, – говорил он, – увертываться, подчас и сгибаться, но уступать – никогда! Против рожна не пойдешь, лбом стены не прошибешь, – объяснял он. – Тут смекалка нужна. А смекалкой разведешь, пожалуй, и стена упадет!»

Так он и сына учил.

«Нужно свое помнить, – говорил он, – свое тянуть. Понемногу, а все тянуть! Посмотришь, как ни крепок камень, а вода, по капле, и его точит!»

И он не принял новшеств Петра, не признал их и не склонился. Осторожно, сдержанно, со всею уклончивостью слабости, но твердо и открыто боролся он против них, отстаивал свои начала, и отстаивал с неменьшим упорством, чем проводил свои преобразования Петр.

От детей он не только не скрывал своей борьбы и своего упорства, но растолковывал, объяснял, учил для будущего, и не только его, Василия Дмитриевича, но и другого сына, Андрея, который был совсем еще мальчик, лет эдак одиннадцати, не более. Он говорил им:

– Ты что думаешь: зачем это царь нас в немцы перерядить хочет и вон, на приклад, кафтаны прислал? Да не только это! И гробы-то христианские запретил, чтобы и на том свете против басурманов никакой отлички не было! Ну, говори, Василий, зачем?

«Я, разумеется, не мог угадать, о чем он думал».

– Затем, чтобы старое-то все из головы вышло. Чтобы самый народ-то новый стал. По-новому наряжался, по-новому думал, по-новому и жил. И жизнь новая чтобы у всех одна была. Чтобы от Рязани до Киева, от Стародуба до Суздаля, от Смоленска до Архангельска и Каменного пояса все до одного в нем только и свет видели. Мы это понимаем, потому и стоим за старину. По старине, Чернигов сам по себе, а Рязань сама собою; Киев – одно, а Зацепинск – другое! А если другое, так, стало быть, не его, а наше, как и вся земля теперь, от самого то есть Яика вплоть до моря, благословением Божиим и славных предков великого рода нашего – вся наша, по правде, по разуму... тут и говорить нечего! А что сила сломила, так это не разум. Ищи силы – и бери свое!

– Коли найти негде? – спрашивал брат Андрей.

– То есть ты не знаешь, где ее взять. Это незнание твое и указывает на Божье наказание. Значит, грешен, когда Бог силы не дает. Молись и жди! Бог прогневался на род наш за грехи наши, но Он милосерден, простит и помилует. А если силы нет, значит, время не пришло. Но ты о том не думай. Ты помни свое! Верь, не тебе, так детям твоим возвратится. Только сам-то ты не склоняйся, не уступай, прорухи на род не клади. Да, детки, – продолжал он весело, – сложу я свою голову, отстаивая святую старину, – пусть! Ваше дело продолжать будет и себя не жалеть. Стойте твердо за обычай, за право, за славный род наш. Терпите иго, гнитесь, но не уступайте. Не попадайте в неволю к неметчине! Знайте, нет горше горя, нет лютее несчастья, как потерять землю, на которой стоишь, забыть род и права свои. Помните это!

И он объяснял нам, – вспоминал Василий Дмитриевич, – рассказывал, как началась Русская земля; говорил о славном роде нашем и о нашем прямом, божеском праве на Зацепинск и на Суздальское княжение; говорил также, что случалось не раз, как князья нашего рода, изгнанные и обиженные, скитались без пристанища, а в конце концов, по воле Божией, восстановились во всех правах своих и сияли еще большим блеском и силой.

– Разумеется, без разума нельзя, – говорил отец. – Увертывайтесь, хитрите, где сила не берет. Наши предки тоже гнулись. Вон Александр Ярославич славный воитель был, но и он в Орду ездил, татарских жен улещевал, мурзам угождал и хану кланялся. Но берите сейчас свое, как только можете взять. Не жалейте же себя для рода. Отдавайте в жертву роду все: и себя, и детей своих, и что у кого есть дорогого. Тогда вы будете истинными Рюриковичами, настоящими Зацепиными и Бог простит вас, даст вам силу и вы возьмете назад все, что по

праву принадлежит вам. И благословят вас тогда все предки ваши, все великие блюстители земли русской!..

III

Против силы

«Скоро ему пришлось на себе испытывать всю тяжесть того, на что он нам указывал, – вспоминал Василий Дмитриевич. – Скоро пришлось именно ни себя, ни детей не жалеть, пришлось нести все жертвы. Первою жертвой был брат Андрей».

Василий Дмитриевич задумался.

«Да! Как ни хитрил, как ни увертывался, как ни уклонялся отец, а ему пришлось потерпеть, – продолжал нить своих воспоминаний Василий Дмитриевич. – Царь потребовал молодых дворян знатных фамилий для отправки в чужие края учиться. В числе записанных значился и молодой князь Зацепин».

После невероятного количества отнекиваний, колебания, отступлений, отписок пришлось признать необходимым пожертвовать одним из нас. Отец выбрал брата, как младшего.

И вот, – припоминает Василий Дмитриевич, – начали снаряжать и оплакивать брата, будто на тот свет. Какие заклятия над ним произносили, какие молитвы творили. Поп приезжал служить особый молебен, чтобы отогнать нечистого духа, долженствующего неминуемо в чужих землях охватить его. Надели на него несколько ладанок, крестиков, святых памяток, зашили ладанки в платье, положили в вещи, чтобы сберечь сколь возможно от натиска нечистой силы; окуривали его ладаном, обрызгивали святой водой, чтобы пропитать его глубже православием и чтобы басурманский дух долее не мог его одолеть. После всего начали оплакивать».

Помнит Василий Дмитриевич это оплакивание, оно продолжалось не один день.

«Вот пришло время прощанья. Мать лежала на лежанке в детской, обвивала рукой голову брата, который перед ней стоял, и выла. Ее поддерживали голоса десяти-двенадцати приживалок и плакальщиц. Все они перебирали похоронные причитанья и, смотря на брата, повторяли слова, обращаемые, по обычаю, только к покойнику:

На кого ты покидаешь нас,
Голубчик Андрюшенька!
На кого оставляешь?
Али мы тебе не угодили,
Али чем не потрафили?
Кто закроет мне глаза – твоей матери?
Кто помолится со мной в смертный час?
Кто поплачет над моей гробовой доской?
Я ли тебя не лелеяла?

Брат обнимал мать и горько, навзрыд плакал, я стоял в углу, тоже в слезах.

Дверь отворилась, вошел отец.

Мать, как лежала на подушке, как выла и плакала она перед братом, с выбившимися из-под платка волосами и распущенным воротом сарафана, так и упала с лежанки на пол, в ноги отцу.

Я замер от испуга.

– Батюшка! Отец родной! Дорогой мой! Милый! сними с меня голову! Проткни грудь насквозь! Коли виновата я, вели казнить меня! Но не бери от меня Андрюшеньку, не отнимай у меня моей радости! Он дороже мне жизни, дороже головы моей!

Отец молчаливо, с грустью поднял мать, посадил на братнину постель, обнял и стал уговаривать:

– Полно, княгиня моя, дорогая моя! Разве я не делал все, что можно, чтобы избавить... Но когда такой гнев Божий нашел...

– Так, батюшка, так! Но Андрюшу, Андрюшу! Он молод, совсем дитя! Смотри, ведь ты отдаешь его на заклятие. Нет, нет! Не могу! Уж лучше Васю, он постарше!

– Василья? Он старший, он наш первенец! От него скорее увидим утешение. Впрочем, не сказано которого... требуют одного... которого хочешь... пожалуй, Василья...

– Нет, нет! Я сама кормила его, помнишь, как родился-то он, Вася, милый Вася! Нет, нет! Но Андрюша, Андрюша! За что я вживе похороню его?... – И начинался опять вой, опять плач, опять горькие причитания.

Когда наконец подвели его под последнее благословение, когда он пал ниц в земном поклоне, мать начала заклинять его.

– «На земле, на воде, на море-океане, не потонешь не сгоришь...»

Отец не плакал, не стонал, не жаловался. Он благословил молча. И только когда последний раз пришлось прижать брата к своей груди, он сказал глухо:

– Не забывай отца, Андрей! – Потом обратился ко мне и таково сурово прибавил: – А ты, Василий, помни, что он жертва за нас! Будьте же, дети, настоящими Зацепиными, чтобы жертва не пропала!

Пожертвовав сыном, отец думал, что затем он может быть покоен. Не тут-то было. Отец не знал царя Петра. Не прошло года, потребовали на службу не только меня, но и самого отца.

Шла война со шведами; отразилась она страшным нарвским погромом. Царь сказал:

– Себя жалеть нечего, надобно землю Русскую спасти, идем все!

– Не хочу! – сказал отец. Не поехал и меня не отпустил. – Что я, кабальный, что ли? В договоре сказано: ни меня, ни моих маестностей не касаться!

Ослушание указов Петра было тогда дело страшное. Чтобы отстаиваться, пришлось выносить ряд унижений, выполнять несчетное количество поклонов, заискиваний, а главное, нужно было платить, и много платить.

– Что же делать? – говорил отец. – Будем платить, будем кланяться и унижаться! Ведь платили же предки наши татарским ханам, заискивали в женах их, мирзах и любовницах. Как быть? Война всегда война; иго всегда иго!

И отец не жалел ничего, платил и жил в своем Зацепине.

Но пришло время, что после нескольких повторительных указов Петра никакие поклоны и заискивания не стали помогать, никакой платеж не выручал. От наших денег стали отворачиваться, как от зачумленных. Требовали явиться непременно. Велено было представить нас живыми или мертвыми. Нужно было ехать; мы с отцом и пропали без вести.

Скитались мы с места на место, не зная, где приклонить голову, что-то больше трех лет. В Зацепине оставалась только моя мать-княгиня да сестры-княжны. Но и им покоя не было. Чуть не кажинный месяц являлся пристав и требовал княгиню.

– А князя нет?

– Нет, батюшка, отъехал!

– Куда?

– А кто его знает, батюшка! У меня ему не спрашиваться стать. На то он муж. Взял большака да и поехал. А куда, Бог его ведает! Может, по вотчинам, а может, и душу свою спасти, – на богомолье заехал куда. Ведь тоже стар человек, и о душе подумать нужно!

– Не бери греха на душу, княгиня, верно, отписывает он тебе! Царь велел его непременно представить.

– Ни-ни! Ничего не пишет батюшка! Уж и сама-то я с ума схожу, не напали ли лихие люди! Чего доброго? Пожалуй, сгубил свою голову.

Допытывались и у сестры. Ну да та, в самом деле, ничего не знала, так и допытаться ничего нельзя было.

– Так не знаешь, княгиня? Ну, смотри, к тому месяцу я приеду, непременно узнай! А то мне тебя в город везти придется!

И пристав уезжал с хорошим подарком.

А мы с отцом чего не перенесли, чего не испытали! Но отец говорил:

– Что ж? Несем мы иго за род свой, за имя наше, князей Зацепиных, чтобы не быть им служилыми князьями, не быть в неволе, словно кабальные. Пусть сгинем мы, но сгинем честно, вольными князьями, которые никому, кроме Бога, не служат, никому не кланяются и воли своей княжеской никому не отдают!

Подле Зацепина оставаться было опасно, и мы продвигались все дальше и дальше, где на лошадях, где пешком, где переряженными. Были разосланы везде указы схватить нас и представить в Москву. И мы должны были опасаться каждого, с кем только встречались, с кем успевали переломить кусок хлеба.

Раза два за нами гнались сыщики, и мы спаслись только находчивостью и спокойствием отца. Раз спаслись тем, что соскочили в угольную яму, и сыщики пронесли мимо. А другой раз успели перерядиться в разносчиков и подладились к сыщикам, угощая их водкой и обещая указать верное место, где нетчики прячутся.

Наконец далее и прятаться нельзя было. Дан был срок явиться нетчикам, а кто не явится, велено было приговаривать к лишению чести и живота, отбирать имение и половину из него отдавать доносчикам и указчикам. Велено было доносить не только на тех, кого знаешь, но и на тех, кого не знаешь, но кого можешь подозревать, что он из нетчиков. Тогда нам нельзя было купить хлеба на базаре из опасения попасть на доносчика и указчика, который из желания разбогатеть на чужой счет мог указать на нас по одному подозрению. Нельзя было войти в церковь Божию, даже на дневной свет взглянуть. Мало ли кто подозревать мог! Мы, как тати какие, должны были бояться собственной своей тени.

Отец переносил все и молчал, а за ним, разумеется, и мне говорить не приходилось.

– Говорят, землю православную отстаивать нужно от свейского короля, постоять за веру православную, оберегать церкви Божии, города и села защищать! – рассуждал отец. – Кто бы не захотел постоять за родную землю? Кто бы с радостью за нее головы не положил? Будто первый раз нам землю свою отстаивать! От татар, ляхов, немцев и от того же свейского короля, от всех отстаивали, ну и теперь готовы! Собирай же рать по обычаю. Я своих зацепинцев всех до одного приведу и сам впереди всех пойду. Договор выполняю свято. Ведь князь Григорий Данилыч, удалая голова, предок наш, Данилы Васильевича сын, водил же по договору зацепинскую рать под Казань, хоть и не сидел уже на родном столе, там и голову свою сложил, ну и я не прочь! Но нет! Им не рать нужна, им нужно кабалу утвердить. Видишь, рать прежняя не хороша, не годится. Ополчение им не нужно. Они его не хотят, не требуют. Это старый порядок. А им нужно по-новому. Нужно рекрутчину собрать, в кабальные записать. Ну и записывай кого хочешь, только не князей Зацепиных!

Разумеется, я молчал, так как общего ополчения и народной рати в самом деле не собиралось, а велено было только от волостей, от городов да от общин рекрутов поставлять, подводы готовить и деньги собирать.

Была зима. Мы расположились в каком-то овине на задворках бедной деревушки, по дороге к Смоленску. Одеты мы были в серые зипуны, бараньи полушубки и деревенские лапти. Ночью отец больно прозяб. Мы собрали разного хламу и зажгли. Отец подошел к костру и погрелся. На другой день в сумерки я запасся дровами. Ночью опять зажгли костер. Было холодно. Отец достал серебряную фляжку, золотую чарку, налил романи и выпил.

– Есть хлеб? – спросил он.

Хлеба не было.

– Нужно бы раздобыть как! – сказал он.

На рассвете я вышел на улицу, поймал мальчишку, дал ему алтын, – а вся деревня-то алтына не стоила, – и сказал:

– Ступай к Федоту и купи на грош хлеба, а копейка тебе за труды будет!

– К какому Федоту? – спросил мальчик.

– Ну вот к тому, что дом-то большой!

– Стало, к Петру! Это у него большой дом, он один и хлеб продает!

– Да, да! К Петру! Перепутал я, должно быть; Федот не продает!

Мальчишка убежал, а мы с отцом сели на завалинку у овина ждать.

Подшли к клети, по другую сторону овина, два мужика.

– Говорю, не в порядке, стало, не в порядке! – сказывал один.

– Да в чем непорядок-то? Рассуждай! – говорил другой.

– А в том непорядок, что вот в запрошлом месяце у меня кринку масла унесли! Ну скажи, кто унес?

– Да ты, може, сам под елку снес, да спяна-то и забыл! А може, баба сарафан справить захотела, а тебе сказать и не подумала!

– Ишь ты! Как не баба! Ты, пожалуй, скажешь, что кринка сама себя унесла! Ну, а кто у Еремки по лету узду стянул?

– Хватил когда, по лету; да теперь рази лето? Еремка в город ездил, а там лихого народу не занимать стать! А у нас, слава те Господи, ни воров, ни татей не живет.

– Ан живет!

– Живет! Где живет? В твоей голове, что ли?

– Нет, не в голове, а где живет – там и живет!

– И ты видел?

– Коли говорю, так видел.

– Ну скажи где.

– Ну-ка ты, голова, скажи, отчего по ночам из Степанова овина дым идет? Что он, по зимам-то ночью хлеб сушит, что ли?

– Да рази идет?

– Вот третьи сутки кажинную ночь сам вижу, право слово, вижу!

– Да ты по ночам-то звезды считаешь, что ли?

– Нет, я бурку наведать хожу; в закут поставили, так, знаешь, наведывать нужно. Только вот иду и вижу – месячно таково было – дым. Что бы такое? Сперва было спужался, пожар, думал...

Мы с отцом слушали. Отец встал и сказал:

– Довольно, идем!..

Мы не стали ждать мальчика с хлебом и пошли околицей, стараясь ни с кем не встречаться.

– Трех дней провести на месте не дадут! – сказал отец. – Это было его первое слово ропота на нашу скитальческую жизнь.

В Зацепине – узнали мы – какого-то комиссара прислали и двух драгунов. Тот начал там все мутить по-своему и мать очень стеснил, так что ей и весточки к нам переслать нельзя было.

Пожалел отец свое родовое Зацепино.

– Нужно этого комиссара и драгунов его во что бы то ни стало спровадить! – сказал он.

– Что ж, батька, – отвечал я. – Он, сказывают, занял Поликарпову избу, и драгуны с ним. Можно подобраться вечером попозже, заколотить хорошенько кругом и всю избу вместе с ними спалить. А там и поминай как звали!

– Ну нет! – сказал отец. – Это не дело. Первое, свое добро жечь не приходится, а потом другого пришлют, и все хлопоты будут даром. Да и княгиню мою жаль. Ей и теперь жутко, а тогда совсем со света Божьего сгонят. Пожалуй, еще подумают, что она велела. А я тебе вот

что скажу, ну делали, что могли, а коли сила не берет, делать нечего, нужно смириться. Это не значит, что мы волей ярмо принимаем, когда против нас чуть не целое царство идет. Лучше голову дать снять, чем на нищенство весь род обречь. Пойдем к царю!

Царь, однако ж, головы не снял.

– Где был? – спросил он сурово отца, когда тот, потупив голову, молча стоял перед ним, приведенный Яковом Федоровичем Долгоруким.

– На богомолье ходил, за твое царское здравие помолиться! – отвечал отец.

– Что долго?

– По обету пешком ходил, ну а ноги-то не молодые.

Отцу тогда давно за пятьдесят было, а от трудов и огорчений он казался старше.

Царь не сказал ни слова и назначил его к Ромодановскому в совет, а меня рядовым в Преображенский полк в запасную роту записал.

Ромодановский был вельможа умный, нашего рода, Рюрикович, от стародубских удельных князей, и тоже такого колена, которое долго удерживалось принять на себя иго служилых.

С виду он был тоже враг всяких новшеств, но только так вел дела, что все они в царскую руку шли; за то Петр его и любил.

Он сразу понял отца.

– Полно, князь Дмитрий Дмитриевич, – сказал он, – выше лба уши не растут, пролитое полным не бывает!

Отец смолчал; но ни подражать, ни даже согласиться с ним не мог. Раз даже сказал ему:

– Ты только Ромодановский, а я Зацепин!.. Помни!

Отец думал, что тот рассердится, но старый и суровый князь Федор Юрьевич только засмеялся.

– Э-эх, братец, ты все свое! Пойми, что старое ушло, нужно начинать сызнова! И Ромодановский, и Зацепин, и Меншиков – все равные князья и все рабы государевой воли! Какой, братец, теперь род, когда вон детям нашим с рядовых службу начинать приходится!

Отец не сказал ни слова, но остался при своем. Ромодановский, нечего сказать, ему мирволил.

Мне мой полк показался хуже каторги. И ведь будто нарочно, – в полку были больше все дворяне да боярские дети, а меня записали в отделение, в котором урядником был сын нашего зацепинского пастуха.

Он под Нарвой еще отличился и был, нечего сказать, молодец и грамотный; службу всю постиг до тонкости и, говорят, был мастер обучать. Он имел право не только штрафовать меня всячески, но на ученье даже бить. Я чуть с ума не сошел, когда это узнал.

Когда меня к нему привели, он сказал:

– Ну, княжич, держи у меня ухо остро! Ведь отец-то твой, старый князь, у нас в Зацепине и сам не любил никому повадки давать! – и на первом же ученье так стал меня муштровать, что я счел необходимым поговорить с отцом.

А отец в это время очень прогневил государя. Государь встретил его и сказал так, без сердца:

– Что ты, Зацепин, все козлом ходишь? Не стыдно ли? Пора, кажется, за ум взяться, одеться по-людски и бороду сбрить.

На эту речь, сказанную милостиво и с усмешкой, отец отвечал:

– Жизнь моя принадлежит вашему величеству, а борода моя – мне!

И с этими словами он показал раскольничий оплаченный знак, разрешающий носить бороду.

Государь очень рассердился.

– Старый дурак! – сказал государь. – Неужели ты думаешь, что я не знаю всех твоих пакостничеств и шатаний, за которые ты давно бы живота лишен должен быть! Я тебе мирволил, но смотри, берегись!

Когда я сказал отцу о моем тяжелом положении в полку, отец позвал к себе урядника, своего бывшего крепостного.

– Слушай! – сказал он ему. – Коли ты чем тронешь или как оскорбишь княжича, то вот тебе мое слово, что не только отца и мать, не только всю семью, братьев и сестер и все животы ваши, но самый двор, самую избу вашу со свету божьего сживу, по ветру размести велю, бревна на бревне не оставлю! Коли хочешь денег, он тебе даст! Мне не занимать стать, ты знаешь; а чтобы княжича, понимаешь, ни-ни!

– Да помилуйте, ваша княжеская честь, – отвечал смело солдат. – Денег ваших мне не нужно, а ведь я их милость обучать должен, так как же мне то ись? Ведь я в ответе буду!

– Уж там как ты знаешь, а слышал? Я своих слов даром на ветер не пускаю. Коли ты жалеешь своих, так подумай.

Солдат подумал. Он пошел к своему ротному. Немец такой поганный был.

– Власть ваша, ваше благородие, а княжича учить не могу – за своих боюсь!

Тот сейчас к Меншикову, а этот к царю.

– Вот какие проделки старые-то роды выкидывают! Государь тогда только воротился из Тулы – был чем-то недоволен и сердит.

Когда Меншиков сказал ему об отце, он разгневался – страх!

– Ты говорил это? Ты смел это говорить? – вскрикнул Петр, когда представили к нему отца по его требованию.

– Пьян тогда был, так и не помню, что говорил.

Государь вспылил пуще.

– Пьян был, старый дурак! А кто тебе велит напиваться до беспамятства? Да как ты смел делать служилому человеку угрозы, а?

Царь оглянулся, должно быть дубинку искал, но дубинки не было, и он схватил отца за бороду.

Через секунду он опомнился. Эта минута была самая страшная.

– Взять его! В кандалы, в застенок, в пытку! Сказать Ромодановскому, чтобы до корня добрался! Это все Милославских отброски! Да я дурь эту боярскую выбью!.. Взять!

Будто из-под земли выросло четверо ординарцев, живо оковали отца и увели в Преображенский приказ, как явного ослушника воли царской.

Плохо приходилось отцу. Не только головы лишиться должен был, но до того в застенке руки и ноги переломали бы.

Отец ни одним звуком не показал, что боится пытки или смерти.

– Хотите моей старой головы? – сказал он Ромодановскому. – Ну рубите, я шею протяну! Хотите кости ломать? Я и в том не поперечу, ломайте всласть! А говорить мне нечего: пьян был, да и только. Вот вам и весь сказ!

– Ну что же, князь, и поломаем ваши косточки княжеские, за тем не постоим, – отвечал князь Федор Юрьевич, посматривая на отца исподлобья. – Андрей Иваныч, позаботься, братец, чтобы завтра нам с утра вот его княжескую честь поразмять. Право, лучше, князь, понадумался бы ты да порассказал нам, что есть, без утайки, и тебе бы легче, и нам бы меньше хлопот. Ну а не хочешь, как хочешь. До завтра...

Вдруг вечером в каморку, куда посадили окованного отца, входит тюремный сторож.

– А зе, светлейший князь, я хотел разговор с вами весть: тысящу рубликов маете?

Отец окинул его презрительным взглядом.

– Что тебе нужно? – спросил он.

– Визу, цто благеродный князь не узнал меня. А я к нему в его маетность Зацепу с Шмулем Исакицем из Полоцка хлеб покупить сам приезжал. О вей мир, какая богатая маетность! Думаю, как тысяче рублей у такого богатого пана не быть.

– Что тебе нужно? – еще суровее и презрительнее спросил отец.

– А то нузно, цто вот завтра светлого князя пытать станут. На дыбу поднимут, клесцами рвать тельце станут. Сказывают, сам князь-кесарь будет; ух, какой строгий, не приведи бог! А коли князь мне тысяцу рублевиков позертвует, то я двери сейчас отворю, кандалы сниму и до Полоцка провозу сам, а там Рига рукой подать, а из Риги к немцам и шведам, – куда только князь задумает.

– Ты все лжешь!

– Не лгу, ясновельможный пан! Мне вше равно безать нузно. Целовек я вольный, цесный еврей, а закабалил меня сюда князь Менсциков. Велел схватить и за своего музика представить. Антон Мануйловиц, тот из насих, дай Бог ему здоровье, меня сюда определил. А то бы меня давно уз из пуски заштреляли. Здесь бы зить и ницего, хоть вше на трэфном сидеть приходится, да мне никак нельзя. У Шмуля Исакица доцка есть, Рифка, уз такая крашавица, цто я и не видал такой! Я на ней зениться хоцу. Отец не отдает, затем цто я беден. Ну и сюда тозе не отпустит. А коли я отсюда бегу да тысяца рублевиков будет, зенюсь непременно, из Мовши зделаюсь Янкелем, и меня не то Антон Мануйловиц, а сам князь-кесарь не сысцет.

– Да как же ты меня выведешь, везде заперто и часовые стоят?

– О вей мир! Я шлесарь хоросий и ключи давно заранее приготовил. А цасовой у круглых ворот ресил со мной безать, тозе из насих, князем Менсциковым со мной одинаково в полон взят.

Отец встал и походил по каморке взад и вперед. Потом сказал себе решительно: «Нет, мне это не рука! Коли я бегу, Зацепино в казну возьмут и дети нищими останутся! Если же я на пытке себя не оговорю, то меня, может, замучат, а у детей ничего не отнимут. Так лучше уж пусть мучат, да дети-то все князьями Зацепиными останутся. Да и что я в Неметчине или у свейских народов делать стану? Нет, не рука!»

– Нет, жид, – отвечал он, – с тобой я не пойду. А вот что: тысячи рублей я тебе не дам, жирно будет. А дам тебе рублевиков двести, если принесешь перо и бумагу и снесешь сыну записку. От него и деньги получишь.

Через минуту перо и бумага были доставлены, и вот что он мне написал:

«Любезный мой сын, князь Василий!

Посылаю тебе мое родительское благословение, навеки ненарушимое. Уведомляю, что меня завтра будут пытками разными в застенке мучить. Но ты будь покоен, ничем не только тебя, но никого не припутаю! Коли замучат или голову снимут, не горюй, но помни завет: будь как есть настоящий Зацепин. Женишься, будут дети, их тому же учи, и будут над тобой милость Божия и мое благословение. Жиду дай двести рублей из кованого сундука. После меня Батановская волость – Андрею, все остальное – твое. Будь ему вместо отца. Благословляю обоих на счастье, твой отец, князь, теперь колодник.

Дмитрий Зацепин».

Письмо это у меня всегда в памяти; кажется, умирать буду и тут вспомню, как, запыхавшись, прибежал жид и говорит: «О Бозе, Бозе, какие муки сетлomu князю готовятся! И клесцами сципать будут, и руки вывертывать, пальцы давить и ломать, огнем подпаливать, воловыми жилами бить! Чужой дрозить от страха! О вей мир, вей мир! Пускай безит, я провозу, я выпущу... И денег-то всего тысяцу просу!»

Но отец не боялся ни смерти, ни мук. Он сказал нет и не ушел, как ни соблазнял его жид, как ни уговаривал.

Однако мучиться ему не пришлось. На другой день допрос отложили. Потом Ромодановский вступился и сам ездил к Меншикову. Что он там с ним говорил, Бог его ведает. Только тот сейчас же к царице. А тогда Петр только что взял ее к себе от Меншикова. Молодая, красивая была, царь очень ее полюбил. Она, дай Бог ей здоровья, выпросила отцу пощаду. Меншиков, я думаю, так из чванства бился. Покажу, дескать, этим старым князьям свою силу: хочу, дескать, казню, хочу – милую.

Но отцу все-таки дело это так не прошло. Царь ему сказал:

– Коли ты, старый дурак, так напиваешься, что себя не помнишь, так вот тебе новое назначение: явись ты к всепьянейшему князю-папе Никите Моисеевичу Зотову, и быть тебе в его конклаве кардиналом. Да смотри! Коли у пастуха или его семьи хоть один волосок тронешь... слышишь! Я напишу нарочно к зацепинскому воеводе, так, понимаешь, за один волосок ты головой заплатишь!

Разумеется, после такого наказа пастуха тронуть было нельзя. Но не прошло месяца, как мой урядник прибежал к отцу, бросился в ноги и стал у него со слезами просить прощения, заверяя и клянясь всем на свете, что княжичу, то есть мне, первым слугой будет.

Дело в том, что доняли его, не мытьем, так катаньем!

В Зацепине, кроме отца, матери, братьев и сестер урядника, жила еще девушка, тоже наша крепостная, дочь второго садовника, Маланья. Эта Маланья, еще до рекрутства, невестой урядника была, и он любил ее больше отца-матери, больше души своей; на побывку раз к ней отпросился из Питера, – тогда он не был еще в запасной роте, – в Зацепино пешком ходил. Кто-то шепнул отцу, он и распорядился. Семьи урядника он не коснулся ни на волос, велел им все льготы давать, а велел схватить Маланью и отправить ее тайно в Шугарановскую волость, верст эдак за пятьсот, и там велел держать ее на господской работе впредь до распоряжения, да так, чтобы никто не знал и не подозревал ни где она, ни куда и по чьему распоряжению исчезла. Отец ее плакал по ней, как по умершей, и даже не подозревал, что отправлена она по господскому приказу. Он думал, что просто сбежала девка, и больше всего подозревал урядника, думал – верно, к нему.

О Маланье воеводе не писали, потому ему и в голову не приходило что-нибудь о ней думать или доносить. Он доносил только, что пастух цел, семья его невредима и никаких притеснений себе не терпят. Маланьи между тем и след простыл.

Дошла весть до бедного жениха. Он света не взвидел. Удар был нанесен туда, куда он не ждал. Он никак не полагал, что князь мог даже знать о его тайной зазнобушке, о его сватанье и жениханье. Воротясь из побывки, он все ждал случая выпросить царскую милость, то есть приказ – отдать ему девку Малашку в жены. А тут, хоть бы приказ такой и вышел, – где ее искать. Известно, скажут – знать не знаем, ведать не ведаем, может, с любовником, а может, в скиты бежала девка, кто ж тут виноват? Но он знал свою Маланью, или, может быть, сердце ему подсказало, только он прямо прибежал к нам и на все согласился.

Тогда моя служба пошла повольготнее. Немец, ротный, не в урядника был – от денег не отказывался, так что я служил на полной своей воле; а все же я и отец считали мою службу в полку игом, тягчайшим, чем было иго татарское, и оба только и думали о том, как бы это иго с нас сложить.

Свейский Карл в Россию вошел. Царь поехал к войску, и нас повели за ним, чтобы заместить убылых людей в полку. Под Лесным в первый раз я пороху понюхал, ничего! Даже благодарность начальства заслужил. В Полтавской битве я не участвовал: в запасе стояли. Но когда шведы дрогнули и побежали, Меншиков и нас захватил, вдогонку добивать. Почитай, всех уничтожили, а кто и спасся, так в полон попал. Торжество и радость были великие.

На службе числился я чуть уж не пятый год, капралом был сделан, а все считал себя в полону и думал об одном только, как бы от такого ига себя освободить? Нас повели к Пруту, против турок. В одной из стычек меня взяли в полон, хотя и отбивался я всеми силами от про-

клятых басурманов, как и следовало православному. У меня были деньги. Их турки не нашли. Эти деньги помогли мне бежать. Но, убежав, я и не подумал явиться в полк. «Что я за дурак, в самом деле, чтобы своей волей в кабалу пошел? – думал я. – Ни за что! Лучше смертная казнь!» Рассуждая так, я решил идти прямо в Зацепино, ну и пошел. Пришлось мне пробираться тайком и наугад, потому что дороги не знал, да и прятаться от всех нужно было. Деньги у меня все вышли, и я крайне нуждался. Оборванный, холодный и голодный, пешком, прячась от своих и чужих, пробирался я степями и камышами к Воронежу, не всегда имея возможность добыть себе кусок хлеба. Но ни на одну минуту не подумал объявить о себе, явиться, хотя и знал, что меня, как бежавшего из плена, примут за спасшегося чудом. «Это будет не по-нашему, – говорил я себе, – будет не по-зацепински, чтобы волей в неволю идти! Там уж будь что будет! Пусть считают меня в полону или хотя мертвым, пусть возьмут силой!» И плутался я, и маялся, а все продвигался, стараясь все на полночь да на восток идти. Больше года так шлялся, как вдруг вместо Воронежа вышел на Клязьму. Ну тут дорога пошла знакомая. В этих местах мы еще с отцом шатались, когда от службы прятались. Дело пошло спорее, и наконец я увидел нашу зеленую колокольню Спаса Нерукотворного, воздвигнутую моим прадедом Андреем Дмитриевичем в память своей первой жены. Помню, как я обрадовался и истинно от души помолился. А в Зацепине, по счастью, я нашел отца. Матери уже не было в живых.

Надоело царю смотреть на хмурого боярина и в пьяном конклаве. А как он больше все отмалчивался и его не сердил, в деле лопухинцев оказался чистым как стекло, и царю доподлинно было известно, что по этому делу он и говорить не захотел, и как меня считали убитым, а о брате Андрее писали все хорошее, хвалили, – то как-то раз, после хорошей выпивки, царь вдруг спросил:

– Ну что ты, Зацепин, все хмуришься? Сидишь, словно ворон на дубу или филин в дупле. Али не рад нашей царской радости, что вот викторию вспоминаем и нашу матушку-Россию прославляем?

– Как не радоваться твоей радости, государь! И я радуюсь, хотя на сердце кошки скребут! Вон сына не стало, за тебя в бою лег; другого сына ты Бог весть куда заслал, ну пусть тебе служит! Жена с горя померла, двух девчонок на руках оставила; а животы, какие были, без присмотра расхищаются, пока я здесь сижу и в почтенном соборе пирую. Как же мне, царь, не радоваться и мошкаррой разной не утешаться? Велишь в пляс, я и в пляс пойду!

Петр нахмурился и гневно взглянул на него.

– Ну, черт с тобой, старик! – сказал он. – Поезжай к себе в лес, коли ты все волком глядишь, да не смей мне и на глаза показываться! Сын твой если и убит, так убит в честном бою, не за меня, а за Русь святую, за веру православную! Другой учится и, Бог даст, человеком будет. А что жена умерла, так в этом никто не виноват, да и не всем до ста лет жить. Либо муж, либо жена, всегда который-нибудь прежде умирает. Убирайся же с глаз долой!

Отцу не нужно было повторять этих слов. На другой же день он уехал из Москвы.

Не ведал того царь, что если не хотел отец разговаривать ни с лопухинцами, ни с раскольниками, как после ни он, ни я не стали мешаться по делу царевича Алексея в заговор Кикина, то не потому, что с новшествами мирились, а потому, что думали: пусть меж собой грызутся, как хотят, нам какое дело? Мы – Зацепины!

Как бы там ни было, но отец был уже в Зацепине и несказанно обрадовался, когда увидел меня. Он никак не чаял видеть меня в живых. Первым делом его было спрятать меня от целого мира, спрятать так, чтобы сто Девьеров не нашли. Попавшись, ведь я не только сам погибал, не только губил отца, как укрывателя, но сгубил бы весь род свой, стало быть, всех будущих потомков наших, то есть моих и брата, князя Андрея, так как все имущество наше, как изменника-дезертира и его утайщика, подлежало бы изъятию в казну. Скучновато было все прятаться, да что было делать-то? Не в кабалу же в самом деле было волей идти?

Но вышел такой случай. Дело мое взялся устроить Вилим Вилимович Монс. Этот немчура тогда сила была.

Отец подобрался к нему через Егорку Столетова, с которым познакомился еще в Москве, и кызылбашского жеребца ему подарил.

– Деньги нужны, – говорил Егорка.

Отец за деньгами не стоял.

– Что делать, – говорил отец. – Платим и кланяемся за грех предков наших! Ведь сила солому ломит, поневоле солома согнуться должна!

– В полону у татар были, – продолжал он, поясняя необходимость согнуться, уступить, чтобы потом взять свое. – Татарам кланялись и платили; потом попали в полон Москве, – та все взяла и тоже заставила кланяться и платить! Теперь попали в полон к немцам, – ну, немцам кланяться и плати, видно, еще не искупили родовые грехи свои!

И платили, и кланялись мы Монсу, Егорке Столетову, Матрешке Балк, сестре ее Аннушке и всем, кто только случай имел. Посылали памятки Меншикову, Толстому, Ягужинскому, самой царице калмычку выписали. Егорка бумагу написал от отца, что вот привезли меня к нему, больного и раненого, из хивинского плена, куда будто продали меня турки, подняв без памяти, с проломанной головой и с двумя пулями в груди, и что вот в настоящее время я от всех этих ран, болезней и мучения самый рассудок потерял и даже свое имя забыл, потому не человек, можно сказать, стал, и не только службы, но и ничего человеческого исполнять не могу. К этой бумаге приложили свидетельства лекарей разных, кого только могли подкупить, сам воевода и его помощник подписались. Одним словом, хлопотали изо всех сил, пока не получили полной моей отставки, будто бы за ранами и увечьем.

Тогда отец позвал меня к себе и говорит:

– Ну, Василий, теперь ты должен жениться. Ведь тебе уже за тридцать, давно бы пора было, да сам знаешь, какие обстоятельства мешали. Теперь же пора, пора! Коли ты не женишься – род Зацепиных пропадет. Андрея я своим не считаю, хотя и послал к нему недавно письмо и деньги, да живет он у басурманов, у папистов, возится все с ними, учится у них всякому окаянству, – долго ли до греха, пожалуй, и сам папистом или басурманом станет! Какой же он будет Зацепин? Стало быть, тебе нужно жениться непременно, и откладывать дело в долгий ящик нельзя.

Вот таким-то образом состоялась моя свадьба».

В глухой, отдаленный угол ветлужских лесов преобразовательные требования царя долго не могли проникнуть. Поэтому свадьба Василия Дмитриевича происходила на точном основании преданий, сохранившихся в старинных боярских родах, и с соблюдением всех обычаев и обрядов, передаваемых из рода в род в древней нашей жизни, от времен язычества, даже до нынешнего времени. Обряды эти, составлявшие, вероятно, часть языческого богослужения, так как заключают в себе прославление языческих божеств, удерживались в русской жизни отчасти из суеверия, боявшегося изменением свадебного порядка лишить себя тех благ, которых всякий ожидает от семейной жизни, отчасти же от преемственной преданности народным верованиям. В них сохранялась неизменно истинно русская, народная старина, не тронутая ни норманнским влиянием, ни татарским погромом, ни московским самовластием. Поэтому обряды эти свято чтились Зацепиными, как завет предков.

До венца Василий Дмитриевич невесты своей не видал и не знал даже, на ком остановится выбор его отца. Смотрины невесты были возложены на его родную тетку, княгиню Мосальскую, которая взяла на себя труд объездить дома, где были взрослые девицы, могущие быть, по родовой гордости князей Зацепиных, избранными в невесты для одного из молодых представителей их рода.

Когда, после некоторых колебаний, между отцом и ею было решено, что приличнейшей супругой для Василия Дмитриевича могла быть одна из княжон Кубенских, княгиня Мосальская отправилась к Кубенским и, разумеется, была принята с большим почетом.

После первых обыкновенных приветствий княгиня Мосальская сказала Кубенской, что она много слышала хорошего о ее дочерях, слышала, что они и красавицы, и скромницы, и рукодельницы, и очень бы хотела с ними познакомиться. Кубенская, разумеется, поняла, в чем дело, и позвала обеих своих дочерей: Груню и Сашу. Мосальской больше понравилась Саша, младшая сестра; но когда ей тонко, очень тонко дали понять, что прежде старшей сестры выдавать младшую замуж они не полагают, то Мосальская, рассчитывая, что ее племяннику Василию ждать некогда и давно уже пора было озакониться, перенесла свой хвалебный гимн на старшую, Грушу. Эти похвалы ее были приняты княгиней Кубенской вполне сочувственно, и она немедленно начала показывать Мосальской шитье и другие рукоделья своей княжны Груши; начала рассказывать о ее воспитании, доброте и других качествах, представила ей нянюшку и санных девушек княжны Аграфены Павловны, которых княгиня Мосальская, разумеется, щедро одарила. За обедом княжна Аграфена Павловна сидела подле княгини Мосальской. Она же проводила ее в опочивальню для послеобеденного отдыха и сидела подле ее постели. В заключение, для доказательства своего полного расположения и уважения, с тем вместе, разумеется, чтобы показать, что ее дочь Груня – товар нележалый и непорченный, а девушка во всех отношениях хорошая, скромная и благонравная, княгиня Кубенская, угощая Мосальскую всем, чем можно, сказала ей, что с дальней дороги ей нужно отдохнуть, – шутка, без мала двести верст проехала, нужно оправиться, и предложила, по русскому обычаю, сходить в мыльню. Мосальская не отказалась. Тогда Кубенская приказала Груне сопровождать ее и угощать, наблюдая, чтобы все было хорошо, в порядке и чтобы всего было вдоволь.

Таким образом, Мосальской был предоставлен случай лично удостовериться в правильном и красивом сложении княжны, в ее девической красоте и скромности. Она могла вполне оценить внешние достоинства молодой девушки, которую выбирала в подруги жизни своему племяннику. Она убедилась, что будущей супруге его не нужно ни подкладок, ни фальшивых кос, ни сурьмы, ни белил, что она не горбатая, не кривобокая, не золотушная или чахоточная, а просто хорошая девушка, которая, надобно думать, будет хорошей женой и хорошей матерью. Возвратясь, она расхвалила Груню брату. Тот, не говоря ни слова, поехал сам к Кубенскому; переговорил обо всем, что следовало, уговорился и о рядной записи. Потом гостил там целую неделю и порешил все настолько, чтобы на следующей неделе можно было, благословясь, и дело начать. На возвратном пути он заехал просить быть сватами Вадбольского и Щепина, князей их же рода. Устроив таким образом это дело, он воротился домой и велел позвать сына.

– Ну, Василий, мы с теткой тебе невесту сыскали на зависть. Нашего рода, Рюриковичей, княжна, во всем подходящая и не бедная. Сватами пригласил князя Григория да князя Ивана Алексеевича. На той неделе поедут. Выбирай себе дружку и подружьев.

Василий Дмитриевич только спросил на это:

– К кому же, родимый, ты надумал сватов посылать?

Да и спрашивать более было нечего. Ведь переменить было невозможно. Отец заручился за него своим словом, а разве может слово князя Зацепина на ветер лететь? Василий Дмитриевич был уже не мальчик, сам понимал, что после того, как отцы по рукам ударили, детям рассуждать не приходится. На весь род охулку положишь. А ведь он сам ни за что в мире не захотел бы, чтобы на его род пятно легло.

Отец назвал ему невесту, хвалил ее, но это для него было совершенно безразлично. Он не подумал бы возражать, если бы вместо Кубенской ему назвали Вадбольскую, Ростовскую или какую бы там ни было иную княжну. Он не сказал бы ни слова, если бы даже знал или слышал, что выбранная ему отцом невеста была кривобока или глуха. Вопрос его женитьбы был вопрос рода, ясно, что и решать его должен был глава рода. Что же касается до него самого, то

выбранный им дружка мог смело в тот же вечер начинать свою: «Славу Ладу и Лелю», с которой начиналось в древней русской жизни величание жениха. Таким образом, Василий Дмитриевич стал из молодого княжича настоящим князем и семейным человеком. Аграфена Павловна, его жена, была действительно хорошая женщина и добрая подруга. Она заведовала всем в доме и была прекрасная хозяйка, несмотря на свою молодость. Старика тестя она берегла, ходила за ним как за ребенком. Он жил долго. Андрею уже не то четвертый, не то пятый год пошел, как старик что-то очень расхворался. Мать подвела к нему его внука Андрея.

– Батюшка, благослови внука-то! – сказала она.

Отец приподнялся.

– Благословляю тебя, – сказал он, осенняя ребенка образом. – Будь ты своему отцу и роду нашему тем, чем князь Зацепин! Не забывай это!

«Потом меня и жену благословил, послал свое заочное благословение брату Андрею и велел ему Батановскую волость отдать.

– Он не виноват, – проговорил отец, – если он не такой, каким мы желали бы его видеть. Он искупительная жертва за нас.

После стал меня благодарить. Благодарил за верность родовым преданиям, за любовь и почтение к нему.

– Помни – сказал он, – род прежде всего! Сына тому же учи и других детей, если, Бог даст, будут. – Тут вспомнил о внучках, тоже благословил, старшей Аграфене много говорил о любви и послушании, а младшая, Елизавета, слишком еще мала была. Потом еще раз простился с нами и почил с миром. Жена закрыла ему глаза.

Да! Счастливо я с женой живу вот уже более двадцати лет. Слова от нее поперек не слышал. Раз только как-то, в первые еще годы, из Москвы портниху привезли, там обучалась; я и вздумал пошалить, пощекотал там ее, что ли, при встрече. Увидала жена и таково тихо сказала:

– Князь Василий Дмитриевич! Я в твои мужские дела там, где на стороне, не мешаюсь! Это дело твоей совести. Но в доме нашем, уж как ты там хочешь, о чем-нибудь таком и думать не моги. Не то я от тебя уеду Богу молиться и в монастырь уйду.

И не стала держать при себе портнихи, настояла, чтобы замуж ее выдать, а потом, когда стали требовать людей Петербург строить и на канальные работы, потребовала, чтобы ее с мужем я в Питер отправил. Я, разумеется, не спорил.

Этот только раз она и выказала себя, а то никогда ни слова. Всегда любящая, послушная, детям мать, а мне друг... Между тем, между тем...»

Лет еще за двенадцать до свадьбы, когда он вместе с отцом в нетчиках скитался, стараясь скрыться от страшных указов Петра, – он был еще совсем юношей и шел куда-то в Пскове, – вдруг его обожгли чьи-то глаза.

«И что это за глаза были! – вспоминает Василий Дмитриевич. – Бывают же такие ясные, чистые, как лазурь небесная! Глубоко смотрели на меня эти глаза из-под длинных ресниц, в самое сердце заглядывали!

– Боярин молодой, помоги! – сказала ему девушка, сверкая своими глазами. – С матушкой тут на улице бог весть что приключилось, обморок, что ли, какой!

Щечки говорившей зарделись ярким румянцем; на ресницах засверкала слезинка, а сама она будто улыбнулась, светло так улыбнулась.

Я бросился по указанию, дотащил старуху до скамьи, положил, sprysнул водой и позвал людей, которые донесли ее до дому. Они жили близко.

– Что с ней сделалось? – спросил я.

– Бог ведает! С утра матушка жаловалась, а сегодня праздник, – как помолиться не пойти? Только идем домой, вдруг матушка опустилась, хочу поднять – сил нет! А на улице ни души. Только вот, на счастье, ты идешь. Прости, что потревожила.

Мать скоро пришла в себя. Обе они благодарили меня, а я думал: «Господи, бывают же такие глаза, ведь взглянуть на них радостно!»

Она оказалась дочерью какого-то приказного, стало быть, девицей, вовсе не подходящей быть подругой жизни светлого князя Зацепина. Из Пскова они должны были скоро скрыться. Он больше и не видал ее. Но что до того? До сих пор он чувствует на себе этот светлый взгляд, эту теплую, сердечную улыбку.

«Полжизни, кажись, отдал бы, – думает Василий Дмитриевич, – за то, чтобы эти глаза смотрели на меня любовно да ласково, чтобы видел я в них привет сердечный... Ведь вот Груня у меня добрая, хорошая! С нею я целую жизнь счастливо прожил! Но все-таки в этой счастливой жизни будто не было чего, будто было что-то пропущено, чего я не испытал и за что даже теперь, старик уже, готов был жизни не пожалеть».

Но все это уже прошло! Где она? Что она? Он не знает! Он устроился, женился, и ясно-окая красавица ступевалась среди бурь житейской суеты. Но при воспоминании о ней и теперь будто щемит сердце, будто что-то трогает, смущает. Он схоронил мать, отца, стал отцом трех сыновей и двух дочерей, единственным владельцем села Зацепина и других волостей, оставшихся в его роде от их сильного некогда княжества, стал старшим представителем их рода и теперь еще, несмотря на все невзгоды, славного и богатого. Старшему сыну его, Андрею, вот уже семнадцать лет, а старшей дочери Аграфене восемнадцать, и, говорят, красавица. Младшей дочери пятнадцать лет, и тоже, говорят, хороша. Ну Дмитрий и Юрий еще дети одиннадцати и девяти лет, но и они князья Зацепины, и о них он думает, очень думает, и должен думать.

Оправдал ли он надежду отца? Возвысил ли род свой?

Нет! Тысячу раз нет! Он не стал ни богаче, ни сильнее, ни выше. Напротив, дети беднее его будут. Но он всю жизнь свою посвящал своему роду, делал все, что мог, делал то же, что делали его отец и дед, стараясь поддержать свое имя и значение в том виде, в каком желали видеть Зацепиных все предки его: независимыми, богатыми, не верстающимися ни с кем и не уступающими никому.

Все обычаи рода, все предания старины, весь порядок жизни, даже до мелочей, Василий Дмитриевич сохранял и соблюдал свято. По мере того как рождался каждый из сыновей, Василий Дмитриевич, по прежнему неизменному закону Рюриковичей – закону, перенесенному еще из воинственных обычаев древних скандинавов, назначать новорожденному часть добычи, – наделял их назначением особого участка из своих имений. Старшему, Андрею, назначил он две деревни с небольшой усадьбой близ Зацепина, – те самые деревни, которые при жизни отца были отданы ему самому. Второму сыну, Дмитрию, он назначил прекрасную каменную усадьбу на реке Воче с Шугарановской волостью, дающей дохода более чем втрое против того, что он назначил старшему сыну. Третьему сыну, Юрию, он назначил почти такую же волость, как и Дмитрию, только подальше. Таким образом, старший сын, Андрей, казался как бы обделенным против братьев, но зато, после смерти отца, ему предполагалось отдать село Зацепино со всеми прилегающими к нему землями, деревнями, имениями и волостями, доходность от которых более чем вчетверо превышала доходность имений, данных обоим братьям. Правда, это усиление его средств возлагало на него обязанность после смерти отца быть для братьев и сестер вторым отцом. В завещании, заготовленном Василием Дмитриевичем, было сказано, что он должен указывать, направлять и помогать им; сказано, что словом и делом он должен быть их головой, опорой и помощью. Но взамен того он должен пользоваться их уважением; видеть их повиновение и почтительную любовь к себе. Дочерей своих князь полагал наградить из имений матери, данных князем Кубенским за Аграфеной Павловной. От них завещание требовало только послушания: сперва отцу и матери, после – старшему брату, а когда выйдут замуж – мужу. Вопрос рода заключался в сыновьях. От них завещание требовало сохранения родовых начал, верность им и самим себе и самоотвержения к их укреплению

и возвышению; поэтому сыновей Василий Дмитриевич старался всеми мерами и наделить, и научить, чем мог и как умел.

Во всех этих наделах и указаниях было явное подражание Ярославу Мудрому и Владимиру Мономаху, также наделявших своих сыновей городами и уделами по их старейшеству, стольные же города свои оставлявших старшим сыновьям по их праву первородства и обязанности быть отцами братьям своим.

Этот родовой обычай, охватывавший собой высший слой населения и вызвавший себе подражание в лучших представителях других родов, ввел в ошибку Петра Великого, думавшего установлением майората выполнить требование народной жизни в поддержании прав первородства. Ошибка эта отразилась весьма тяжкими последствиями на экономической жизни высшего сословия, положив начало розни между им и другими слоями общества, вводя в него понятия, совершенно несродные народной жизни. Русский народ, не подвергаясь никогда феодальному гнету и состоя из одного тесно связанного между собой племени, а не из победителей и побежденных, слияние которых образовало общественную жизнь Запада, не мог смотреть на детей своих иначе как на естественных и равноправных представителей своего отца, долженствующих поэтому в равной степени пользоваться всем, что им отцом предоставляется, без различия в их старшинстве. Понятие о значении первородства было достоянием и сохранялось только в некоторых старинных родах, поставленных в исключительное положение, и то в соединении с понятием о патриархальной власти отца, могущей распределять оставляемое им наследство между детьми по своему усмотрению. Поэтому установление майората не могло не вызвать весьма важных недоумений и затруднений в русской жизни. Но в то время, когда практическое законодательство сохраняло еще свою патриархальность, весьма трудно было отделять то, что составляло общее требование жизни, от того, что исходило из исключительности положения. Установление майората особенно тяжело отражалось на дворянстве, хотя собственно для поддержания дворянства и было введено. За несколько лет до начала нашего рассказа оно было отменено, и этой отмене наиболее радовались те, которые должны были бы преимущественно его желать.

Василий Дмитриевич, распределяя свое состояние между своими детьми, разумеется, не думал ни о майорате, ни о требованиях русской жизни. Он думал только об обычаях и порядках своего рода, думал только о том, как бы избежать этих новшеств, которые, благодаря почину великого преобразователя, со всех сторон врывались в русскую жизнь, подрывая собою значение родового начала как естественного представителя старины. Правда, он видит, что жизнь идет в другую сторону, получает иной смысл. В этом новом направлении значение рода теряется с каждым днем. Возникают новые основания общественности – богатство и личный труд. На эти основания опираются и из них исходят – знание, предприимчивость, деятельность и другие условия возвышения и успеха. Он видит, что эти и только эти начала новой жизни поднимают человека в глазах нового общества. Он знает и видит, чем еще при московских царях стали именитые люди Строгановы; видит, в какой степени в царствование Петра возвысились Демидовы, Сердюковы, Крюковы, Баженовы – лица, не имевшие родового значения, поднимавшиеся из толпы благодаря именно знанию, предприимчивости и деятельности, приведших их от труда к богатству. А Меншиков, Ягужинский, а иностранцы – Девьер, Остерман, Миних? Он видел, что сам гигант-царь не задумывался жать руку простому кузнецу, когда тот оставливал на себе его внимание своею работой; видел также, что царь этот не считал для себя унижением вступать в соглашение с последним торгашом, когда того требовала польза России.

«На то его воля была! – думал про себя Василий Дмитриевич. – Да, воля; но воля, основанная на практической разумности, воля, поддерживаемая необыкновенной силой духа!.. Кто что ни говори, а царь, как я его вспоминаю, как я о нем думаю, был великий царь! – рассуждал про себя Василий Дмитриевич. – Правда, насилие его было чрезвычайное, ломка страшная, но насилие это было не только произвол, но и разумность! Самые новшества, которые он вводил и

которые мы так ненавидели и ненавидим, были не только прихоть самовластия, а какое-то особое, непонятное для меня стремление все сплотить, соединить, всему дать один обличованный им образ, в который он хотел отлить всю жизнь Древней Руси. И доказательством тому, что всякое новшество, вводимое им, он испытывал прежде на себе, выполнял сам. Какая тут прихоть, когда прежде чем, например, велеть снести бревно, он сам взваливает бревно на плечо и несет, чтобы знать, не тяжело ли? Когда собственно себе он отказывает во всем, даже в новых башмаках, но не жалеет ничего на то, что ведет к поставленной им цели? Когда всюду и во всем себя первым кладет под обух? Помню, как служил еще я, рассказывали, что когда решили они напасть на вошедшие в Неву шнявы и пошли на галерах и шлюпках их брать, то под огнем шведских пушек впереди всех шли шлюпки царя и Меншикова. Обе шлюпки подошли к борту шнявы вместе; Меншиков, однако же, секундой прежде царя успел схватиться за борт судна и начал было лезть на шведов, встречаемый штыками, интрепелями и направленными прямо на лезущих пистолетными выстрелами. Царь, увидев это, окликнул:

– Сашка, куда лезешь, дурак, убьют ни за грош!

Меншиков по этому слову царя-друга обернулся. Секундой этой царь воспользовался, заступил место Меншикова, заслонил его собою и полез вверх вперед, под первый удар, проговорив только Меншикову:

– Прежде отца в петлю не суйся!

Он вошел первым на борт шнявы, тогда как Меншикову удалось войти только вторым, под прикрытием царя, которого, разумеется, он сам хотел прикрывать.

Да! Он был именно, как после говорили, гигант-царь, богатырь-царь! И вот теперь, когда его не стало, не должны ли были бы все эти введенные им новшества обратиться вспять, пасть сами собой, отступить на второй план? Не должны ли были бы они немедленно дать дорогу старому? А между тем – нет! Они с каждым днем растут, развиваются, врываются в жизнь со всех сторон! Теперь для меня естественный неотложный вопрос: при таком положении что мне делать с Андреем?

По прежним вековым обычаям нашего рода я выучил его не только тому, что сам знал, но многому тому, чего и сам не знал. Пускай не говорят, что мы – враги новшеств, враги всякого знания. Знать – все хорошо, против этого никто и ничего не говорит, да в нашем роде никогда и не бывало безграмотных. Грамоте он обучен, цифирь знает, читал и святых отцов, и сказания о землях чужеземных. К тому же он отлично ездит верхом, дерется по-немецки на шпагах, плавает мастерски, стреляет тоже метко, чего же еще? А вот брат пишет: нужно образование! Какое это образование? Из чего оно состоит, как получается и к чему приводит? И зачем это образование может понадобиться князю Зацепину? Вот в позапрошлом году наезжал сюда Волконский и у меня был; спрашиваю у него, а он говорит: по-французски и по-немецки учить нужно! Я было руками и ногами, но, рассудив, подумал: точно, знание всегда знание! И опять, делать нечего, решил и взял учителя из пленных шведов, что тут остался за разменной, должно быть, русский хлеб вкуснее, чем печеное кна-кебре; пятьдесят рублевиков на всем готовом жалованья положил и держу; но чему он обучил Андрея, чему учит Дмитрия и Юрия, не знаю! И если обучит, – хорошо, когда на пользу, а если на вред? Как подумаешь – с ума сойдешь! А тут еще, будто нарочно, два старых столбца рукописей, доставленных с разных сторон и писанных разными людьми, и обе рукописи говорят прямо, что падение рода нашего – наш грех и искупить его можно только трудом и молитвой.

Отец Ферапонт – человек умный и строгой жизни человек, наш молельщик и монах, нам преданный! Да как и не быть им нам преданными: весь монастырь-то усердием князей Зацепиных сооружен и поддерживается! Вот он мне и говорит, когда я стал ему рассказывать, какие колебания и сомнения меня одолевают:

– Не знаю, князь! По моему малому разуму и по обету отрицания от суеты мирской не умею отвечать на слова, в коих видна гордость и славовлюбие. Смирняющийся возвышается, а

гордым Бог противится. По моему глупому рассудку, светлый род Рюриковичей был призван новгородцами и принят всею Русью по воле Божией княжить, а не царствовать. Пока он княжил, его, видимо, охраняла милость Божия. Но вот в своей великой гордости он захотел царствовать, и Бог оставил его, иже земному величию предел положен. Для царствования над Русскою землею Бог избрал других людей, другой род. Эти избранники Божии возвысят и укрепят православное государство наше и в своей великой благодати, любви и смирении перед волей Всевышнего, может быть, сами захотят в грядущем княжить, а не царствовать и тем возвысят и вознесут славу имени своего превыше всех владык земных. Пути Господни неисповедимы, и будущее в руке Божией! А вот что я тебе скажу: разбирали как-то на днях у нас монастырские рукописи и нашли много столбцов и рукописей, в которых говорится о славном роде вашем. Между прочим, попался столбец сказаний князя Данилы, не того князя Данилы Васильевича, что сдал Зацепинск, а его правнука, Данилы Даниловича, внука его сына, Григория Даниловича, что Удалой Головой прозвали. Этот Данило Данилович от юных дней своих не возлюбил суету мира сего и посвятил себя Богу. Бог и просветил разум его великою мудростию. Святой жизни человек был и кончил жизнь свою в нашей обители, в схиме. Свиток сказания его зело испорчен крысами, облили чем, должно быть, что ли, только целые главы в свитке крысы уничтожили, а все есть кое-что. К нему прибавлю еще свитки: один писанный новгородским паломником, а другой – заозерским монахом. Прочитай-ка, князь, эти свитки. Монастырь тебе кланяется ими, как памятью о твоих предках. Не просветит ли Господь разум твой словами отшельников? Не разрешит ли колебания и сомнения твои? Скажу тебе, по моему малому уму, это пророческие хартии и великое указание сделано в них славе рода твоего.

С этими словами монах велел подать мне связку разных свитков и бумаг.

Вот столбец предка нашего, князя Данилы, о роде нашем. А вот рукопись паломника под заглавием: «Повесть о том, как Господь милость Своему народу оказывает и как лютую злобу преследует». Третья рукопись без заглавия, обозначено только, что писана лета 7156, стало быть, в 1648 году, полиелейным монахом Амвросием.

Чуть не в сотый раз я читаю и перечитываю эти рукописи и думаю:

«Боже мой, а что, если и в самом деле это так? Если ошибались князья сильные и могучие, а правы вот эти монахи и паломники, которые говорят, что сила и величие – труд и любовь, а не отрицание и гордость. Если точно пролитое полным не бывает, и что было, то ушло, и ушло оно по воле Божией, стало быть, воротиться не может и не должно.

Но опять думаю, что скажут они, дети и внуки мои, если я отменю то, что сохранялось, как завет рода, переходя от отца к сыну, целые века, целые сотни лет?.. Что будут думать потомки наши, когда спросят, зачем я изменил преданиям рода своего? Нужно позвать Андрея, поговорить с ним. Он молод, но Бог, в своей великой благодати, умудряет и младенцев. Отец в тяжкие годы наши, когда брата к басурманам в науку брали, а потом, когда нас на службу требовали и мы были в нетчиках, – всегда говорил со мною, хотя я и был тогда не старше Андрея... Вопрос ведь прямо до него относится! Я уже отжил, мне не начинать!»

В этих мыслях он ударил небольшой железной палочкой в колоколец, висевший тут же на столе, на деревянной подставке.

В дверях в ту же секунду столкнулись казачок, истопник и комнатный.

– Позвать князя Андрея! – сказал князь Василий Дмитриевич.

Все трое бросились как угорелые.

IV Князя Зацепины

Князь Василий Дмитриевич все еще сидел перед своими столбцами рукописей, взгляды-вая то на ту, то на другую и отыскивая в них те места, которые особо останавливали на себе его внимание, когда вошел его сын, молодой княжич Андрей Васильевич.

Он остановился при входе в горницу, видимо желая угадать, что угодно отцу: чтобы он подошел к нему или на месте выслушал бы его приказания.

– А, Андрюха! – сказал отец, вздрогнув как-то особо своими густыми, нависшими бровями. – Поди-ка сюда, садись, поговорим!

Сын скромно подошел к отцу, поцеловал его руку и безмолвно сел на скамье подле стола.

– Ты знаешь ли, куда я думаю отправлять тебя?

– Нет, батюшка, не знаю!

– В Питер!

– В Питер?

И на лице сына выразилось полнейшее недоумение.

– Да, в Питер, и надолго!

– А что, разве опять требовать стали?

– Нет, не требуют, Андрей. Я сам думаю отправлять!

– Твоя воля, батюшка. Коли велишь в Питер ехать, я и в Питер поеду, только, кажись, зачем бы?

– Зачем? На службу царскую!

– На службу?

И у сына задрожали уголки губ.

– Да, на службу. Приходится, видно, и нам себя закабалить!

Сказав это, Василий Дмитриевич задумался.

– Что же, батюшка, ты меня в служилые князья обратить хочешь? – сдержанно, но с нервным раздражением спросил Андрей Васильевич.

– Выходит, что в служилые. Что ж делать-то, когда время такое?

– Прости, батюшка, ты знаешь, я твой послушник, но что же с тобой случилось? Обнищал ты, что ли? Али новая невзгода какая над нами стряслась? Али, может, на меня за что гневаться изволишь?

– Нет, Андрей, не обнищал я, слава богу! Невзгоды никакой особой также не вижу, и сердиться мне на тебя не за что. Ты сын мой возлюбленный, мой первенец, и о тебе первая забота моя. Но вот думаю я, ночей не сплю, все думаю: видно, того время требует, видно, воля Божия!

Отец опустил локти на стол и положил на руки свою голову, перебирая и трепля пальцами свои седые волосы.

Сын безмолвно смотрел на отца, но видно было, как щеки и губы его белели, глаза покрывались туманом, кровь отливала от лица.

– Слушай, – сказал отец, поднимая голову, – ты молод, но уже можешь понять дело нашего рода, дело князей Зацепиных! А для рода своего, для нашего славного имени мы себя жалеть не должны. Ты помнишь деда, помнишь последние слова его? Теперь спрашиваю: чем и как мы можем возвысить свой род? Смотри кругом, что видишь? Все бьется, мечется, идет вперед. Одни мы стоим и, ясно, отстаем. Все стремится к сближению, к объединению. Все понимают, что в единстве – сила. Мы только стоим за раздельность, за особенность, стоим за прошлое. Есть ли возможность, чтобы мы побороли всех, а главное, победили время, которое, видимо, не за нас? По-моему, нет. Ты как думаешь?

– Я, батюшка, об этом никогда не думал, – отвечал скромно князь Андрей, – но когда ты спрашиваешь, само собою думается, одному всех не побороть.

– А теперь мы именно почти одни. Правда, есть еще несколько отраслей нашего же дома... но все это капля в волнах нашей Волги. Да и тут, смотря на эти отрасли, право, подумаешь, что и монах, и паломник правы. Они оба, будто согласившись, говорят: началом такой особенности рода Рюриковичей была гордость, а продолжение ее ад нашего времени – дикость и леность.

Сказав это, Василий Дмитриевич легонько ударил по лежавшим перед ним столбцам рукописей.

Сын молчал.

– А поднимается ли, возвышается ли имя, расцветает ли род от лености и дикости? Разумеется, нет! Поэтому поневоле подумаешь, не прав ли был князь Ромодановский, когда говорил он твоему деду, моему отцу: «Эх, князь, пролитое полным не бывает, выше лба уши не растут! Прошлое ушло, надо начинать сызнова!»

Сын молчал, стараясь угадать, что разумеет под всем этим отец.

– А если Ромодановский прав, – продолжал Василий Дмитриевич, – то как же не сказать, что, видно, не летать кулику ясным соколом, не сиять княжеству Зацепинскому своим собственным, родовым светом! Время не то. Будут или нет князя Зацепины великими людьми, но уже не в прежнем своем величии, а в новом порядке дел.

– Что же делать, батюшка?

– Что делать, по-моему – ясно. Склониться перед временем, или время нас сокрушит.

Он оперся на стол и замолчал. Потом стал говорить тихо, медленно, как бы с трудом разжевывая свои слова:

– Около трехсот лет стоим мы особняком на Русской земле. Мы держались твердо: никакие невзгоды не сломили нас, никакие несчастья не унизили. Ни в чем не положили мы проруху роду своему, ни перед кем не склонились, ни в чем не уступили. До того мы грудью служили Русской земле, устраивая и защищая ее от врагов внешних и внутренних. Младшая отрасль колена Мономахова, мы стали в главу своего дома и руководили им, обороняя родную землю с востока, тогда как князья других отраслей нашего же дома, наши родичи и кровные, по нашему указанию и с нашею помощью отстаивали запад. Тогда был страшен восток. Оттуда шли враги наши орда за ордой, как волна за волной. Нужно было мощно разить их, чтобы прикрыть землю русскую. Так и разили их предки наших прашуров, князья Юрий Владимирович Долгорукий и Андрей Юрьевич Боголюбский. Но, возвышая так себя и род свой и получив преобладание над всею Русью как великие князья, ветвь дома нашего, наши предки не смирили страстей своих. Не победили они себя, как побеждали врагов земли Русской. Они забыли завет Ярослава быть для князей братьями, а для народа отцами. И Бог за то наказал их, как наказал Бог до того другие ветви рода нашего, лишая их власти и наследия, подводя их под руку нашу или, еще хуже, подчиняя пришельцам чуждым, желавшим искоренить даже самое имя русское. Мы не хотели внимать внушению Божию; мы грешили сугубо, чувствуя силу свою; грешила с нами и вся Русь. Бог прогневался и наслал на Россию татарский погром, погром страшный, неожиданный. Князья встретили врага грудью, легли целыми поколениями, защищая свободу и целостность земли Русской, но воли Божией не преступишь и не перейдешь предела, положенного гневом Его. Началось иго татарское. Русская земля стонала стоном, жертвуя трудом и кровью сынов своих, красотой дочерей и гордостью князей своих. Смирилась Русь перед волей Господа. С коленопреклонением и слезами припала она к престолу Божию, моля о грехах своих. Не смирился только гордый род наш. Опираясь на татар, он начал теснить народ свой и поедать сам себя скорее и сильнее, чем он это мог бы, опираясь только на свои дружины. Татарин был всегда татарин. Он говорил: «Какое мне дело до твоего народа? Собирай и заставляй, а мне подавай готовое! Ты князь, ты и княжи. Голов людских жалеть нечего. Коли сила не берет,

я помогу; а коли ума да доброй воли нет, – другого князя посажу». Вот по этим-то словам татарским мы и мучили. На народные же деньги покупали татарскую силу, чтобы давить и князей, и народ, все подводить под свою высокую руку. А тут на западе явился новый враг, проходимец литовский – Гедимин. Погибала земля Русская. Замирала ее доблесть и сила, гибли плоды труда ее и разума. Стонала и плакала Русь, и молился народ русский, слезно молился: «Да помилует Господь и простит его согрешения!» И помиловал Господь, простил Русскую землю. Не помиловал и не простил. Он только гордый, славлюбивый и корыстный род наш. Мы поедом ели друг друга, тесня и крутя народ свой. Опять младшее колено нашей ветви, от последнего сына святого князя Александра Ярославича Невского, московский дом Ивана Даниловича Калиты взял верх. Московские князья, наши родичи и близкие, стали врагами нашими кровными, врагами хуже злой татарвы. Они поели нас всех и стубили тем и волю русскую, и силу славного рода нашего. Зацепины держались долго. Но вот и наш час настал. Сила московская стала кругом... От поселков новгородских и от родичей ярославских, от Галича и Белозерска до Хвалынского и Казани – кругом обошли Зацепинск московские полки. Кажись, нужно было бы дружно стать, но и тут распри и ссоры, как бы наследие Всеволода Большого Гнезда, не покинули нас. Наши младшие братья, удельные князья княжества Зацепинского, все покинули нас и приняли сторону Ивана Московского, который начал уже себя царем величать. Что было делать? Пришлось уступить!

Молодой человек, который до того молчал и слушал, вдруг вспыхнул и вскочил. Глаза его сверкнули; правая рука судорожно сжалась в кулак.

– Как уступить, батюшка? Разве нельзя было обороняться? Разве нельзя было шаг за шагом отстаивать родную землю и наше родовое право? Разве нельзя, наконец, было умереть, как рязанские князья умерли, когда татары пришли, и как после легли Зацепины на Куликовском поле, отстаивая землю свою? Как ты мне сам же рассказывал. Не считай меня хвастуном, отец, но я ни за что бы, кажется.

– Ты стал бы драться? Хорошо! Но к чему бы это повело? У нас, если бы собрали старого и малого, не набралось бы и двадцати тысяч ратников, а Москва выставила рать во сто тысяч, да наши же удельные князья к ней тысяч десять привели. Потом – у нас и тысячи самопалов не было, а московская рать вся шла с огненным боем. Пушек у нас было две, а у Москвы больше сотни. Куда же бы мы ушли с своею защитою? К чему бы привели свое княжество? Только к одному разгрому, одному разорению и своей собственной гибели! Москва не только сожгла бы наши села и поселки, не только развеяла бы по ветру города и посыпала бы пеплом луга и пажити наши, но она вырвала бы с корнем, уничтожила бы все, что только могло напоминать имя князей Зацепиных. Она уничтожила бы все лучшее, все дорогое нам, все, что мы любили! Нет, Андрей, это было бы не дело разума! Там, где сделать ничего нельзя, пустая отвага не помогает, а губит. Монах прав, говоря: тут нужен был разум!.. Вот видишь, до нас еще был сильный и могучий князь Дмитрий Юрьевич Шемяка. Зацепины хоть по роду были и старше, но считались его удельными. К московскому дому он был ближе нас и сильнее нас. Он вздумал идти против Москвы. И чем же кончилось? Он умер одиноким и отравленным в Великом Новгороде; внуки его где-то шлялись между ляхами, а потом в конце концов должны были ударить челом тому же князю московскому. Где они теперь, бог их ведает! Ни слуху ни духу! Да кто и думает теперь о Шемячичах. Предок наш, князь Данило Васильевич, поистине был умный человек. Он понял дело как есть и видел, что никакая отвага не поможет против силы, потому и решил мириться, уступить. Он думал: «Ну что ж, носи в груди свое право, сохраняя его, думай, помни всегда, что ты есть, но склоняйся, уступай, когда силы нет. Ищи себе этой силы, ищи везде! Когда найдешь, – другое дело; бери что твое!» С такими-то мыслями князь Данило Васильевич и сдал город Зацепинск и свое княжество на договор князю московскому; при этом было выговорено, что мы сдаем княжество под высокую руку князя московского, отдаем на его волю суд и расправу, передаем все мыты и пошлины, выезжаем сами из столь-

ного своего города, но, подчиняясь его высокой воле, как младшие братья, сохраняем полную свою свободу и независимость, считаемся князьями и его братьями, имеем право отъезда, в Зацепинске между лучшими людьми считаемся первыми, собираем и предводим зацепинскую ратью в случае, если московский князь ее потребует. Имена наши остаются за нами, а взамен уступаемых сборов князь награждает нас особыми вотчинами. При приезде в Москву мы приглашаемся к его великокняжескому столу и в думу для обсуждения нужд Зацепинского княжества и имеем по нем неотъемлемое право представительства. В случае приезда нашего в стольный город свой жители его обязаны отдавать нам наши княжеские почести. Владыко должен встретить нас с причтом и крестом при колокольном звоне, а горожане – поднести хлеб-соль, по обычаю. Помещение нам отводит город, как бы и самому князю московскому, а воевода великокняжеский во время приезда состоит в нашем распорядке, с тем что мы не отменяем ничем повелений князя московского. Одним словом, было оговорено все, что клонилось к чести и славе нашего рода, к сохранению памяти о правах его на зацепинское княжение и о его родовом достоинстве из века в век.

– И сдали княжество? – задумчиво спросил князь Андрей Васильевич.

– И сдали! Да подумай; спустя мало времени против Москвы ни Великий Новгород, ни Тверь не устояли, где же было устоять тут Зацепинску? Нет, про Данилу Васильевича, нашего пращура, можно было только сказать что Бог просветил очи его и он сделал то, что мог сделать, желая сохранить значение и славу рода нашего знаменитого. Мир праху его и вечная ему память! Благодаря ему мы до сих пор были независимы, могли бороться и силу искать, а то бы, опять скажу: вспомни Шемячичей! А Шемяка, князь галицкий, звенигородский и дмитровский, по силе своей и богатству был далеко не то, что мы, да и Москва тогда была послабее. Но он пал от того, что не сообразил. Мы сообразили, склонились и вот держались независимо до сих пор.

По этому договору князь Данило выехал из Зацепинска и основал это наше село Зацепино. Здесь он жил, здесь и умер, не верстаясь ни с кем и не служа никому. После него остались три сына: князь Григорий Удалая Голова, князь Федор и князь Дмитрий. Князь Дмитрий умер бездетным, князь Григорий, по требованию Москвы, водил по договору зацепинскую рать к Казани, основал Свияжск и при этом сложил свою голову. Сын его, князь Данило, княжил на Вохтоме, оставил сына, тоже Данилу, но тот с детства рос постником и молчальником и сызмала клонился к отшельнической жизни. По смерти отца он пошел в монастырь. Остался из князей Зацепиных один Федор. По смерти отца он тоже жил в Зацепине, в служилые князья не поступал, ни с кем не верстался и никому ни в чем не уступал. Также особняком жил и сын его, Юрий Федорович, князь суровый и гордый. Когда раз, по какому-то делу, он приехал в Москву и царь Василий Иванович, исполняя точно договор отца, позвал его к своему столу, то, по указанию самого царя, он занял первое место подле него самого. А когда хотел было восстать против того князь Василий Семенович Одоевский – бывший уже в служилых, доказывая, что колено Святослава Ярославича, третьего сына Ярослава, по месту должно быть поставлено выше колена Всеволода Ярославича, его четвертого сына, то государь указал быть без мест. Одоевский забыл или хотел забыть, что уже правнуки Святослава Ярославича были в ряду изгойных князей, владели Черниговом лишь на правах удельных и в версту не шли. Колено же Владимира Мономаха искони сидело на великокняжеском столе. Царь московский был нашим родичем и того же колена.

– Ты этак выше меня сесть захочешь, – сказал царь князю Одоевскому и выдал его князю Юрию Федоровичу головою.

Но суровый предок наш даже и не вышел к нему, дескать, на слугу сердиться нельзя!.. Дети Юрия Федоровича остались после отца малолетними, старшие умерли при жизни отца. Мать их, из рода князей Белозерских, была нашего же рода – мы больше все женились на своих – и также принадлежала к роду неслужилых князей, воспитывала детей своих в тех же

мыслях. Вырастая, они знали, что им принадлежит Зацепинск, а двоюродным братьям их – Белозерск и что эти родовые стольные города их отняты московскими князьями силою, а не правом. Выросли они и в версту не встали, на службу не пошли. Они так же думали, как прадед их князь Данило, дед князь Федор и отец князь Юрий, как потом думали потомки их, мой пращур, прапрадед, прадед, дед, наконец, отец мой и все Зацепины, да и не одни Зацепины, но и другие ветви славного нашего дома Рюриковичей. Так же думал и я до сих пор: дескать, ну, Москва одолела, хорошо! Будем молчать и терпеть, а в версту не пойдем, служить не станем. Бог даст случай, и наша возьмет! Возьмем тогда себе то, что наше, и будем княжить по Божьему промыслу. Велика была сила татарская, думали мы, и ту Бог смирил, по своей великой благодати; так что ж тут говорить о гордыне дома московского! Не хотим разуть рабынича, мы братья, а не слуги ему. Так думали не только мы, князья Зацепины, старшая ветвь дома Юрия Владимировича от старшего внука его Константина Всеволодовича, не только другие ветви нашего же дома, но чуть не все Рюриковичи, у кого Москва отняла их княжества, после того уже, как нам не страшна стала сила татарская. Князья Мосальские, Елецкие, Горчаковы, Звенигородские, Шистовы, Звенцовы, Ромодановские, потомки разных колен и ветвей, точно так же, как и наша линия московских князей: Ростовские, Щепины, Белозерские, Шелешпанские, Вадбольские, Кубенские, Ухтомские, Сугорские и другие, прямые потомки Всеволода Юрьевича Большого Гнезда, родичи и наследники Андрея Юрьевича и Александра Ярославича, – все думали одинаково, стояли особняком, в служилые не шли, в версту не становились, ни в чем новшеств московских не поддерживали и от старины не отходили. Все они думали: «Посмотрим, что будет! Не нами свет начался, не нами он и кончится, а не становясь в версту, помня только род, ясно, что верстаться с собой мы никого и не допустим!»

Они все, как и мы, не прочь были служить Русской земле и признавали великокняжеский стяг московский как стяг старшего брата, которому все, по завету Ярослава, обязаны послушанием; но они хотели видеть в нем старшего между равными, хотели видеть родового представителя самих себя, а не их судию, распорядителя, царя, перед властью которого должны склоняться одинаково и князь, и смерд и который каждому указывает место по своему разуму. Таким татарским ханом никто из нас не хотел его признавать. Между тем Москва именно требовала, чтобы глава ее был царь, самодержавный и великий, чтобы ни род, ни достоинство не смели уже поднимать перед ним своего голоса, чтобы место каждого определялось исключительно службой ему.

Ясно, что сойтись с этим взглядом мы не могли. Поэтому стояли особняком; жили в своих вотчинах; водили иногда по договору свои земские полки, когда собиралась рать; по особому наказу принимали под свой надзор и защиту те или другие города, но в московскую службу не шли, ярмо на себя не надевали...

Между тем нашлись наши же родичи, светлого же дома Рюриковичей родовые князья, особенно из тех, которые потеряли свои княжества во время самого погрома татарского или были вытеснены с своих столов литовскими князьями Гедимином и Ольгердом, также дети удельных князей самого Московского княжества, которые думали по-другому. Видя, что Москва все ширится и растет и что самые княжества их слились уже с ее силою и объединились с нею душевно, они отказались от своих родовых прав и стали под стяг московских князей. Московские князья приняли их милостиво и зачислили в число своих приспешников – служилых князей. Князья Одоевские, Воротынские, Бельские, Вяземские, Мстиславские, Оболенские, Шуйские вместе с Гедиминовичами, обиженными при разделе своими братьями: Патрикеевыми, Голицыными, Куракиными, Хованскими, наконец, и Трубецкими (последние удельные князья были), – приняли московский порядок, взялись нести рядовую службу с московскими боярами, окольными и другими служилыми людьми, становясь, разумеется, тем с ними в версту. Они верстались с Годуновыми, Собакиными, Юрьевыми, Морозовыми, Татевыми, Образцовыми, Ряполовскими, Мамоновыми, Бутурлиными, Шереметевыми и другими,

не только искони слугами нашего предка князя Юрия Владимировича Долгорукого и потомков его, но даже с слугами их слуг. Нельзя не сказать, чтобы из наших ветвей не было уже никого, кто бы не соблазнился корыстью московской, особенно из младших, обедневших ветвей. Но такие исключения были столь редки и происходили столь случайно, что о них нечего и говорить. Ты от юных ногтей твоих знаешь, что ты князь Зацепин, независимый родовой княжич славного дома Рюрика, дома, княжившего на Руси семьсот пятьдесят лет и неверставшегося ни с кем в мире. Ты знаешь, что твой отец, дед и прадед и все Зацепины всегда высоко держали стяг свой и ни перед кем не склоняли чела, ни с кем не становились в версту. Они признавали и признают московского князя старшим, хотя он и младшей ветви. Но старшим, как избранника рода, получившим старшинство по договору, как получил его Андрей Боголюбский, – старшим между равными братьями своими; и они признавали его своим отцом-покровителем, а не судьей и царем.

При московских царях нас и не тревожили, оставляли думать, как мы хотим, и стоять от всего особо. Но вот, когда Бог наказал московский дом за гордость и обиду братьев его, когда царь Иван собственноручно убил своего сына-царевича и наследника, другой умер бездетным, а третий младенцем сгиб от злодейской руки и стали править Москвой иные люди, тогда началась смута, которая кончилась общим избранием в цари Романова-Юрьева, то привязались и к нам. Наш пращур, правнук князя Юрия Феодоровича, внука Данилы Васильевича, сослался на договор, но ему отвечали, что теперь нет князя московского, а есть венчанник Божий, народом избранный и волею Божиею благословенный, самодержавный государь и царь, всей Русской земли верховный повелитель, которому повиноваться, не только за страх, но и за совесть, сам Бог повелевает! Несмотря, однако ж, на то, при первых царях из дома Захарьиных-Юрьевых-Романовых нам удалось отстоять себя. Мы тоже в версту не встали. Но при Петре Великом ты знаешь, что твоему деду, а моему отцу пришлось прежде всего пожертвовать своим сыном, твоим родным дядею, князем Андреем, а потом вынести тяжкую борьбу за себя и меня, за весь род свой. Ты знаешь, сколько перенесли мы, сколько пришлось нам бороться! Ну что ж, бороться так бороться! Мы от борьбы не прочь. Я и тебя благословил бы, мой сын, на борьбу за славный род наш, за его величие и славу. Но вот в чем вопрос: на пользу ли борьба-то? На благо ли и величие нашего рода, на прославление ли нашего имени? Ну что, если на гибель? Эта мысль мучит, томит меня, не дает покоя ни днем ни ночью, и уже не первый год! Что, если я, вместо возвеличения и возвышения, уничтожаю его, заставляю его склоняться и падать, как на это мне указывает самый ход жизни, самые события прошлого? Я думаю: мне указали этот путь предки наши; но они определили его сообразно с ходом былой жизни, сообразно с тем, что шло перед ними; я же хочу делать то, что делали они, в то время когда вижу, что между нынешним ходом дела и прошлым нет сближения. Ясно, что одно из двух: или предки наши ошибались, думая, что немое упорство и сторонность сохраняют их родовые права, или теперь, по случаю изменения хода дел, следует принять другой путь возвышения и возвеличения. Ведь если можно было думать, что, при старой Руси, мог восстать старый Зацепинск и призвать своих князей Зацепиных с прежними порядками и обычаями Древней Руси, то думать это теперь, когда все стремится к общению и объединению, все равно что желать, чтобы Волга побежала назад и чтобы мы, вместо того чтобы стареть, молодеть начали. Московское царство с своими старыми князьями, боярством, прежними обычаями, порядками и обрядностью, перенесенною к нам частью из Византии, частью заимствованною от татар, пожалуй, и с своими стремлениями городов, хоть бы и Зацепинска, занять свое независимое место среди святой Руси было далеко не то, что нынешняя империя с ее рекрутчиной, солдатчеством, неметчиной и всем, что так далеко отводит нас от Древней Руси, отводит от прошлого. Что лучше, бог знает! Но оно – не то, оно другое. Стало быть, и делать нужно другое, чтобы достигнуть чего-либо, что предположено. Прежнее Московское царство было для нас неволя, было иго, такое же иго, как и полонение татарское. Был царь, татарский хан Узбек, давивший Русскую землю и

мучивший ее князей; потом стал царь московский Иван Васильевич Грозный, также угнетавший землю и уничтожавший роды князей русских с корнем, с чадами и домочадцами. Правда, последний был христианин, но неволя от братней руки тяжелей, чем от чужой... Сущность была та же, были гнев и неволя. Распадись тогда Московское царство, как распалась татарская орда, и явилась бы прежняя мономаховская Русь, и возродилось бы княжество Зацепинское. Теперь не то. Империя хотя бы и распалась, останется порядок, останется единение, и княжеству Зацепинскому все равно не быть. Что ж тут делать, на чем остановиться? В этом колебании думы моей я не признавал возможным взять решение вопроса на одного себя; я написал брату Андрею. Я от него ничего не хотел, кроме совета. Напротив, готов был ему от сердца помочь, по завету отца нашего, зная, что он после отца не получил и пятой доли того, чем отец благословил меня. Я хотел только, чтобы он высказал: что должно делать теперь с вами, на что направить и чему научить.

Я винил себя перед братом, что не писал к нему прежде, но объяснял, что это произошло не от того, чтобы я не помнил о нем, но от того, что, по родовому обычаю нашему, полагал, что он вспомнит о своем старшем брате, который должен заступать своему роду место отца. Писал, что не кичусь старейшинством, но желаю выполнять свои обязанности в рассуждении всех и желаю от всех, и от него особенно, братской любви и доброго совета. Просил его написать о нынешнем ходе дел и о том, что делать мне с детьми, будущими представителями рода князей Зацепиных. Наконец, спрашивал, не нуждается ли он и не могу ли я помочь ему по силам. Вот что он мне отвечал:

«Сиятельный князь и мой многолюбезный и дорогой брат!

Благодарю Вас, многолюбезный сиятельный мой брат, за Ваше любезное письмо, которое я получил и усвоил. Я не писал к Вам, потому что не знал, как Вы изволите смотреть на нас, новых людей, с бритыми подбородками и в французских кафтанах. Очень рад, видя из письма Вашего, что Вы тоже полагаете, что нельзя целый век медведями жить. Без всякого сомнения, перво-наперво любезным племянникам моим нужно образование. Без образования нонче человек, хотя бы он был даже князь Зацепин, не имеет никакого аванса для успеха в свете и перед прекрасным полом, около которого весь свет вертится и который всем располагает. При образовании же, нет сомнения, князя Зацепины не ударят лицом в грязь и займут надлежащее место при нынешнем роскошном дворе, который дорожит умными и приятными людьми почти столько же, сколько и всемилостивейший покойный французский король, отыскивавший везде все, что могло усилить блеск его двора. За предложение помощи благодарю, и хотя, точно, я получил от покойного отца нашего несравненно менее, чем он наградил Вас, но, благодаря милости ко мне обеих императриц, я ни в чем не нуждаюсь. Правда, что в настоящее время в Петербурге жизнь так дорога, что денег выходит страшно много, но все же; при своей умеренности и как человек не семейный, я свожу концы с концами и не позволю себе лишать Вас, сиятельнейший брат мой, тех средств, которые Вам необходимы, чтобы дать детям своим, моим милым племянникам, надлежащее воспитание. Что же касается Зацепинска и тех объяснений и намеков, которые Вы изволите делать о прошлом нашей фамилии, то скажу, что и при других дворах есть тоже знатные фамилии, которые, однако ж, не думают, чтобы можно было опять стать тем, чем были. Как бы, я думаю, смеялся Креси или Монморанси, если бы при Людовике XIV им сказали, что они должны думать о восстановлении своих княжеств. Предлагая, с своей стороны, свой дом и всего себя к Вашим услугам, если надумаете приехать сами или прислать в Петербург моих племянников, с полным почтением к Вам, сиятельнейший и многолюбезный брат мой, остаюсь всегда Вашим

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.